

ЛАДА ЛУЗИНА
МОЙ ТРУП



Лада Лузина

Мой труп

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4400145

Лада Лузина. *Мой труп*: Фолио; Харьков; 2009

ISBN 978-966-03-4790-8

Аннотация

"Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры", – сказал Шекспир. И классик был прав. Обнаружив утром в холодильнике труп своего любовника, экс-театральный критик Александра решает расследовать его убийство... с помощью теории драмы. Ведь жизнь, по сути, ничем не отличается от театра!

Но что если однажды убитый свяжется с ней с того света?
Такого детектива вы еще не читали!

Содержание

Миф об Орфее и Эвридике	6
Глава первая	7
Глава вторая	30
Глава третья	61
Глава четвертая	94
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Лада Лузина

Мой труп

Рисунки Лады Лузиной



Моему руководителю курса – Валерию Алексеевичу Фиалко – посвящается.

Все прочие события и герои романа – вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.



Орфей, Эвридика и Смерть

Миф об Орфее и Эвридике

После смерти своей возлюбленной Эвридики Орфей – музыкант и певец – отправился за ней в царство мертвых. Его искусство обладало столь магической силой, что заморозило всех обитателей Аида. Повелитель смерти отдал Орфею ту, за которой он пришел, с условием, что он не посмотрит на нее, пока не доберется до дома.

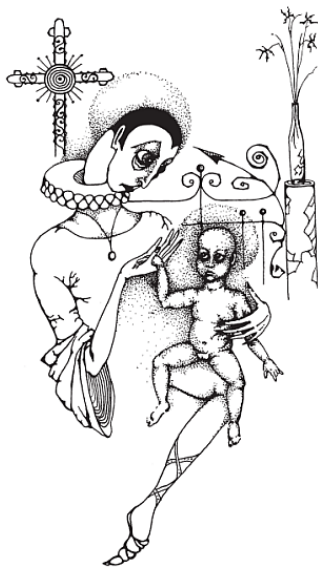
Но Орфей оглянулся... И не смог спасти Эвридику.

С тех пор древний греческий миф переписывали множество раз. Один из них – пьеса Жана Ануя об Эвридике, Орфее и Прекрасной Смерти...

Глава первая

Я хочу поверить тебе одну тайну, одному тебе, потому что я тебя очень люблю. У смерти только одно достоинство, но об этом никому не известно. Она добра, она ужасающе добра... только смерть настоящий друг.

Жан Ануй. «Эвридика»



Я проснулась. Мой нос сползал с плоского края подушки,

упираясь в нечто твердое – мой дневник.

Просыпаться не хотелось. Жить тоже. Хотелось проспять всю свою жизнь и проснуться только для того, чтоб умереть. Но это было привычное чувство.

Я рывком села в кровати.

Последняя запись в дневнике, датированная 01:08 прошлой ночи, гласила:

План на 13. 07.

а) Пойти...

б) ...повеситься.

в) Если не будет настроения, попытаться еще раз начать жизнь сначала.

Вешаться настроения не было.

Проходя мимо гостиной, я безрадостно отметила размазанный по ковру салат оливье, перевернутую этажерку с треснутой ножкой и осколки бабушкиной зеленой салатницы. Пол коридора был усыпан блестками и колтунами серпантина.

Мало что вызывает такое уныние, как грязная посуда, оставшаяся после вчерашнего праздника, вещи, бывшие модными в прошлом сезоне, и люди, которых ты когда-то очень сильно любил. Но лучше уж проснуться рядом с бывшей любовью, чем посреди помойки под названием квартира после попойки, хотя бы потому, что выставить опостылевшего любовника за дверь гораздо легче, чем мусор...

В ванной я автоматически пошлепала ладонью, пытаюсь

нащупать зубную пасту, и сразу возненавидела себя окончательно. Неделю я забывала ее купить. Чистить зубы два раза в день меня намертво приучили еще в детстве, а покупать зубную пасту – не приучили. Потому два раза в сутки – утром и вечером – я рефлекторно шла в ванную, решительно брала в руку зубную щетку, в то время как вторая рука тянулась к полке под зеркалом, где лежал воображаемый тюбик, и, только коснувшись ее, вспоминала – пасты нет. То есть, конечно, в ближайшем магазине ее сколько угодно, но вчера вечером я опять забыла купить ее по дороге.

«Шо умница, шо красавица, шо пиздец».

Я уныло поставила щетку обратно в стаканчик с облезшим олимпийским Мишкой и вышла в коридор, полная омерзения к себе в целом и своим нечищеным зубам в частности. К концу недели я успела повторить ритуал восемь раз, и мне стало казаться, что во рту у меня образовалась мини-помойка. Помойка-макси образовалась у меня в квартире.

«Новая» жизнь была такой же мерзкой, как «старая», и просыпаться окончательно, чтоб осознать это в полном объеме, катастрофически не хотелось.

«А может, все-таки повеситься?» – возможность такого исхода, как обычно, принесла утешение.

«Вы хотите убить меня? Это решит парочку моих проблем», – сказал Куилти голосом Маковецкого¹.

¹ В спектакле Романа Виктюка по пьесе Э. Олби «Лолита» Сергей Маковецкий

Я почапала в кухню, открыла холодильник, чтоб достать бутылку воды, и... проснулась.

В холодильнике сидел труп.

Его звали Андрей.

* * *

Я аккуратно прикрыла дверцу, села и попыталась определить, что я чувствую.

Ничего.

В экстремальной ситуации чувства всегда покидали меня. Ни истеричного сердцебиения, ни дрожащей пружины в желудке – бескрайняя пустота бело-зимнего поля, ни домов, ни деревьев. Я сидела на табуретке, положив руки на колени, а в моем холодильнике сидел труп. Труп Андрея – моего приятеля, актера московского театра, окончание гастролей которого мы и отмечали вчера буйной компанией. Театр улетел утром. А он остался.

Потому что он труп.

Я встала. Ног не было. Внутри было пусто, будто я проглотила кусочек вечности и теперь бесконечность пространства и времени распирает меня изнутри. Край сознания успел отметить, что я смутно надеюсь на какое-то недоразумение, обычный розыгрыш, на то, что сейчас Андрей откроет глаза и скажет: «Ха-ха! Ну что, попалась, подруга?»

Андрей смотрел на меня стеклянными глазами куклы. Его подбородок упирался в колени – чтобы поместиться сюда, ему пришлось крепко обхватить ноги руками. На нем были черные брюки и футболка – черные густые восточные волосы лежали на плечах. Он был на четверть узбеком, на четверть поляком, наполовину русским. Во всяком случае, он так говорил, а я никогда не спрашивала, шутка ли это.

Я наклонилась и заглянула в его удивительное спокойное лицо. Он был мертв. Однозначно мертв. Такой абсолютный покой исходит только от неодушевленных вещей.

Я снова закрыла дверь. Снова села. Закурила. Курящему человеку легче понять, что он сходит с ума, чем некурящему. Я всегда могла сосчитать, сколько шагов сделала в сторону сумасшедшего дома только по тому, как подкуриваю сигареты.

Есть несколько стадий. Первая – самая легкая и распространенная – засовываешь сигарету в рот обратной стороной и на автомате подпаливаешь фильтр. Вторую – я удовлетворенно отметила, после того как секунд пять подряд щелкала зажигалкой, прежде чем поняла: сигарету, которую я безуспешно пытаюсь подкурить, я просто забыла вставить в зубы. Третья грянула, когда, вытащив сразу две сигареты из пачки, я засунула одну из них в рот и изо всех сил старалась подкурить вторую, старательно затягиваясь первой – не заженной. Четвертой и пятой стали два пожара – я подкурила в ресторане мундштук кальяна, а неделю назад подожгла

зажатую в зубах авторучку. С тех пор, как журналист, я, наверно, могла бы претендовать на звание «горящее перо»...

Нынче же наступил мой финал. Не было сомнений, я – ненормальная, окончательно и бесповоротно, – я без промаха зачихнула сигарету в рот, чиркнула спичкой, затянулась и поняла, что не испытываю никаких чувств, которые положено испытывать в подобных случаях всем нормальным людям. Ни страха, ни отвращения, ни сожаления.

Ощущение было одно – остановившегося времени. И в том безвременье я сидела на кухне, опершись локтями о заляпанный высохшими лужами стол, курила и бесчувственно размышляла о том, что Андрей мертв. Он сидит в холодильнике. И даже мертвым остается таким же красивым. Вернее, мертвый он еще красивее, чем в жизни. Похож на куклу в огромной коробке, жутковато-красивую куклу в стиле «Господина Оформителя»².

В жизни у Андрея никогда не было такого лица. Только на сцене... Стоило ему снять грим, его черты, идеально правильные, словно господь скрупулезно прорисовал их с помощью карандаша и линейки, исказались до уровня смазливой мордашки. Мельчали, распадались, дробились. Безукоризненные линии губ расплывались в хитроватых ухмылочках. Глаза, бездонные как у «демона» Врубеля, становились ищущими, неуверенными. В жизни он был не демоном, а мелким бесом, скачущим «мелким бесом» вокруг бесчис-

² «Господин Оформитель» – фильм О. Тепцова.

ленных представительниц женского пола. Хотя это не мешало ему быть хорошим актером.

Еще вчера я сидела в зале и смотрела его в «Эвридике»... Господин Анри появлялся из тьмы и отряхивал сумрак с рукавов белого костюма. Его рукава напоминали крылья. Выбеленное гримом лицо было строго-печальным и сострадающе-мудрым, каждый жест, каждое слово – точными, как удар ножом. Он играл Ангела Смерти – ангела-хранителя всех утонченных неврастеников, чувствующих себя неприкаянными в невыносимо-реальном мире. Он укачивал их на руках, когда они кричали от боли, и укутывал в свои белые одежды. Там, на сцене, он был милосердным, всепонимающим, всепрощающим защитником всех отверженных и прокляженных. Я страстно любила его в этой роли.

А теперь Ангел Смерти был мертв. И я не могла понять, странно это или закономерно. Не могла понять своих чувств – их не было. Я не знала, сколько я просидела вот так, разглядывая немый годами розовый кафель и деревянную доску с надписью «Не красна изба углами, а красна пирогами», – час или десять минут? Не знала, сколько раз я перечла эту надпись – два или двадцать?

Но потом я вспомнила, что время все-таки существует. Если не для меня, то для других. Оделась и пошла на работу.

Только подбегая к метро, я подумала, что нужно было вызвать милицию.



Сбегая по длинному эскалатору:

– Извините. Извините... можно пройти... – я ловила обрывки чужих утренних лиц.

Мысль об Андрее в моем холодильнике сидела внутри как секрет. Стремный, холодный, но не неприятный. Так, по утрам, ты вспоминаешь о неоднозначном сексе, в процессе которого вы отошли шагов на сто влево от классической позы миссионера.

Кстати, Андрей тоже был моим любовником. Секс с ним был неважным. Не плохим – не имеющим значения. Андрей был мужчиной общественного пользования, которого употребляли для своих нужд все, кому не лень, – пустышкой, балаболкой и поблядушкой. С ним можно было беззаботно переспать, поговорить ни о чем и тут же забыть об этом. Но я запомнила нашу первую ночь потому, что он оказался первым и последним мужчиной, заметившим шрам на сгибе его локтя.

«Вены резала?» – понимающе спросил он.

С тех пор я испытывала к нему непреходящее смутное тепло.

Добравшись до редакции, я бросила сумку-свидетельницу (я – на работе) на письменный стол и пошла в кухню по длинному коридору с чередой однотипных дверей.

Наш концерн выпускал такое количество изданий, что я до сих пор не смогла заучить всех названий. «Дом и сад», «Сад и огород», «Семья и школа»... Названия были такими же однотипными, как двери редакций. Одни и те же темы кочевали из журнала в журнал. И я катала в уме ироничную мысль: при желании я могла бы написать одну статью в стиле «Секреты женского счастья» и целый год не писать уже ничего – лишь бесконечно переписывать ее, перекраивая под: «секреты женского счастья в саду», «секреты женского счастья в семье», «секреты женского счастья в огороде»...

Кофейный автомат не работал. Я включила электрический чайник. Я должна была что-то сделать, и это было самое разумное из того, что я могла. Из-за Андрея я не успела выпить кофе.

«Из-за Андрея я не успела выпить кофе. Так можно сказать о мужчине, а не о трупe». – От запаха кофейных гранул ум пробудился и проявил присущий ему сарказм.

Я была зависима от первой утренней чашки, как наркоман. Я и была наркоманом: три чашки кофе ночью, чтобы не спать, затем две таблетки снотворного, чтобы заснуть. Вчера

я проглотила четыре... Я перешла Рубикон. Но *моя* смерть утратила статус первостепенной проблемы.

Я жадно прильнула к кружке. Реальность входила в меня большими глотками. Как-то один кавалер, возомнивший мою кофеинозависимость рафинированной манией, торжественно привел меня в «Дом кофе», где в меню было с полсотни сортов. И был покороблен, когда я сказала ему, что вообще не чувствую кофейного вкуса, мне все равно, какое пошло я пью, – я использую его, только чтоб заставить свой мозг работать.

Мозг заработал.

«02» – подсказала реальность.

«Мы провожали театр. Я устала и легла спать... в час ночи. Так записано в дневнике! Но мы и приехали-то часов в одиннадцать – после спектакля. Утром я проснулась, открыла холодильник, а там Андрей. Все», – объяснила я милиции.

«А почему вы не позвонили нам сразу?» – поинтересовался милиционер.

«Потому что не успела выпить кофе...»

Милиционер посмотрел на меня, как на психически ненормальную. Нет, хуже. Как на человека, неумело пытающегося что-то скрыть.

Может, стоит объяснить это шоком, сказать «Я действовала, как сомнамбула»?

Иллюзорный мент покачал головой – объяснение не развеяло его подозрений.

«Хорошо, – сказал он нехорошим голосом. – Вы проснулись, открыли холодильник и обнаружили труп. И как же он там оказался?»»

Впрочем, вопрос «Как?» снимался. Любой мог залезть в холодильник и захлопнуть за собой дверь. Ему не пришлось бы даже вынимать оттуда еду, потому что никакой еды там не было. И полочек не было – два месяца, как металлические полки стояли прислоненными к батарее. Я собралась разморозить холодильник, вымыла полки и поставила сушить. Дальше дело не пошло.

Я выиграла свой холодильник в телевизионном ток-шоу – в то время его вела наша Оля, которая втихаря подсказывала мне ответы. Не для того она пригласила дружбанку в свою передачу, чтоб та проиграла и ушла расстроенная. Выигрыш я выбивала из канала два месяца и вряд ли б получила его, кабы не та же Оля и не моя профессия. Поотбивавшись от меня какое-то время, они, верно, подумали, что формат моего тележурнала вполне позволяет написать статью «Отдают ли призы на канале?»».

Старый «Днепр» я отдала Оле на дачу. А новый – оказался бракованным. Починить его не удалось – он был без гарантии, даже без инструкции. Так что, если б не Оля, я могла б написать другую статью, про спонсоров, получающих телерекламу и сбрасывающих бракованный товар. Через неделю выяснилось: их агрегат замораживает все продукты на смерть – колбасу, помидоры. Потом они, конечно, оттаива-

ли, но есть их было уже невозможно. В итоге я хранила там только воду (мне нравилось чувствовать пронзительный холод на небе и думать, что однажды, испив чересчур холодной воды, я заболею и умру) и ровно год собиралась разморозить его, помыть и отключить.

Так что куда актуальней был вопрос «Зачем?»

Зачем Андрей полез туда?!

Я попыталась поставить себя на его место. Во время подобных вечеринок у каждого периодически возникала насущная потребность уединиться, поэтому самым популярным местом в моей квартире была ванная – единственное до недавнего времени помещение, где можно закрыться изнутри. Там вечно кто-то запирался, и вечно кто-то стучал снаружи: «Эй, вы скоро? Вы ж не одни!» В ванной запирались, чтоб поговорить по мобильному, запирались, чтоб выяснить отношения друг с другом, запирались, чтоб трахнуть, чтоб принять ледяной душ и прийти в себя после выпитого, чтоб просто побыть одному и без помех подумать о своей несложившейся жизни...

Но залезть в холодильник, чтоб отдохнуть в одиночестве от шумной компании?

Я скорбно скривилась. Из всех нас на такое была способна лишь я! С меня бы реально стало: залезть в холодильник, закрыться изнутри и страдать оттого, что меня никто не ищет, утешаясь своей дурацкой оригинальностью. Да, я вполне могла так поступить.

Но Андрей... Андрей мог забраться туда только для того, чтоб приколоться над кем-то. Заслышав их, спрятаться, чтоб выскочить вдруг с жутким воплем. Так я и подумала вначале.

Но он не выскочил. Остался внутри. Не смог открыть дверцу? Чушь – холодильник не сейф.

Но тогда остается всего один вариант...

Кто-то оглушил его и засунул в холодильник. Или убил и засунул, что, в общем, одно и то же. Кто-то из наших друзей. Из наших с ним общих друзей. Кто-то из нашей древней компании – родной, знакомой и истертой до дыр, как рисунок на коврике, висевшем над кроватью с самого детства.

Нет. Это невозможно. Это полный абсурд! Даже желанье замуроваться в холодильнике, чтобы немного подумать о смысле жизни, казалось мне меньшим маразмом.

Но милиционеру так не показалось.

«А кто был вчера у вас в гостях?» – спросил он, доставая блокнот. Его черты расплывались. Сознание рисовало лишь контур: массивные плечи, большие руки с неопрятными ногтями и тонкие, недобрые губы.

«Да все как обычно...»

Мы приехали из театра на двух машинах: я, Оля, Арина, Андрей, Доброхотов, Женя, Рита, Янис с Сашей и Инна.

Все было как обычно, за исключением Инны – она не из нашей компании. Просто приятельница – случайно встретились в театре, и я пригласила ее. По-моему, ей не понравилось. Мы с Сашиком танцевали стриптиз – раздевались в

процессе страстного танго. Наш коронный номер. И Сашик, и я друг друга не очень любили, а танцевать вместе любили – у нас хорошо получалось. Потом я общалась с Доброхотовым, у него что-то не сложилось с Олей, и он пытался прибиться ко мне. На Доброхотове мне стало грустно. Я пошла спать. И все еще были на месте. Даже Инна. Инна убить Андрея не могла, она видела его впервые. Остальные – тем более!

«Это невозможно!» – сказала я милиционеру.

Но мой иллюзорный мент уже ходил по квартире, разглядывая многозначительный разгром: оливье на ковре, разбитую посуду и мебель. И я замолчала, да же не пытаюсь объяснить ему: «Это не следы борьбы. Все как обычно!»

Однажды пьяный Сашик поджег снаружи дверь в ванной (Ян закрылся там с кем-то). Однажды пьяный Янис разбил мне окно. Однажды, познакомившись с соседом сверху, Арина пошла к нему в гости, а потом спрыгнула с его балкона на мой, сломав сушку для белья, за которую она ухватилась, и сбив ногой деревянные перила... Перил до сих пор нет, одна голая решетка. Как она не разбилась, до сих пор загадка. Арина была пьяна, как ангел.

«Так, так», – сказал мент, успевший сделать массу многообещающих выводов.

«Да пошел ты!..» – оскалилась я.

Я больше не лгала себе.

Я не собиралась звонить в милицию!

Я вообще не имела склонности лгать себе, предпочитая с жадностью патологоанатома препарировать свои маразмы. И дело было не только в неизбежности объяснений в жанре театра абсурда «А кто разбил вашу посуду?» – «Мои друзья. Они всегда ее бьют». Моя жизнь слишком давно походила на театр абсурда, чтоб я испугалась сомнительного поворота в следующем акте.

Я просто не могла вот так отдать им Андрея. Вызвать бригаду, смотреть, как они выскребают его из холодильника, как какую-то вещь, и уносят на носилках в никуда... навсегда.

Каким бы он ни был, он был моим братцем. Первым и последним мужчиной, заметившим шрам на моей руке. И он не перестал им быть, оттого что умер.

Но это было не все.

Все непонятное, смутное, смущающее и не сформулированное заключалось в том, что я просто не хотела его отдавать.

Так же, как два дня назад не хотела отдавать Арине алую блузку, которую взяла поносить. Так же, как одиннадцать лет назад, по окончании театрального института, до смерти не хотела сдавать свой потертый студенческий билет...

Потому что Андрей не перестал быть для меня, оттого что умер!



Так получилось, что я выросла на кладбище.

С пяти до четырнадцати лет меня водили туда чаще, чем в цирк, театр и музей. С четырнадцати до девятнадцати – я ходила туда сама. И Байковое кладбище стало самым прекрасным образом моего детства.

Как волшебная книга сказок с мрачноватыми, бередящими воображение картинками, оно было пронизано странными, загадочными историями, и каждая могила имела свою легенду.

Вот, слева от центрального входа, шесть ступенек ведут к белоснежной ажурной беседке. Там, в стеклянной витринке, видна выцветшая, голубая икона Божьей Матери, украшенная кружевами и белыми бумажными розами. На черном памятнике с гранитным крестом золотые буквы: «В ночь на 24 в 12 часов 5 минут Отошла ко Господу верная раба Божия Елисавета Феодоровна. Урожденная – Шепелева». А над надписью лицо женщины – не доброе и не грустное – уверенное лицо.

На этой могиле по сей день горит лампадка. И за исключением черного памятника, все пространство – белое-белое. Маленький белый мир.

«Здесь похоронена женщина, которая пожертвовала все свои деньги монастырю, – говорили мне в детстве. – Теперь на ее могиле всегда стоят живые цветы. И все они – белые или

синие, как символ ее праведности».

Справа, на центральной аллее, бронзовый памятник – балерина, распластавшаяся на черной плите в позе «Умиряющего лебедя» Сен-Санса.

«Здесь похоронена известная балерина...»

Рядом на темном граните лежат две огромные, позеленевшие от многолетних дождей, бронзовые розы. Каждый раз, проходя на Байковое, я подолгу любовалась ими – они казались мне несказанно прекрасными.

Потом, лет в шестнадцать, я купила ложку для сахара – ее серебристую ручку украшала выпуклая желтая роза. Ложка была на редкость безвкусной. Но я любила ее за то, что она вызвала у меня умиротворяющие детские воспоминания о кладбище. И желание стать балериной, достигшее меня к шести годам, было вызвано этим бронзовым маревом в застывшей пачке – сказочным «лебедем» свитянутыми, навеки поникшими руками.

В том возрасте, когда нормальные девочки мечтают: «Когда я вырасту, у меня будет большая квартира, муж, кошка, собака, четверо детей», я, гуляя по Байковому, думала: «Когда я умру, на моей могиле будет такой же мраморный ангел, он будет стоять в таком же красивом склепе и там будет вот такая ажурная решетка...»

Я никогда не боялась смерти – ни своей, ни чужой.

Я никогда не боялась мертвых.

Так получилось, что кажущийся большинству людей че-

ресчур зловещим и мрачным древний лозунг «memento mori»³ был воспринят мной раньше, чем я узнала, что два плюс два равняется четырем. Смерть была для меня такой же нестрашной, знакомой и привычной, как подружка детства, с которой мы играли вместе в песочнице, копая свои «секретики». И, поступив в театральный, я радостно кивала, читая в пьесе Ануя «Надо смело довериться смерти, как другу. Как другу с сильной и нежной рукой...» Потому что еще в детстве, гуляя по Байковому, я знала, что когда-нибудь меня похоронят здесь, так же как моих прабабушку, прадедушку и дедушку Саню.

Дедушка Саня, в честь которого меня и называли Александрой, умер, когда мне было пять лет. И именно с его смерти Байковое кладбище стало моей Меккой, потому что мой дедушка был единственным мужчиной, который действительно любил меня.

Говорят, события, происходившие с человеком в возрасте трех-пяти лет, безнадежно стираются из памяти. Но я помнила дедушку так ясно, как будто рассталась с ним вчера.

Он искренне считал меня первой красавицей мира, давал мне все, что бы я у него ни попросила, и позволял мне портить любую вещь, которую я разламывала в поисках истины. А главное – он разыгрывал со мной целые спектакли. У нас было много сценариев, но лучше всего мне запомнился сюжет про Ивана Царевича и Василису Прекрасную,

³ Memento mori – Помни о смерти (*лат.*).

воспроизводимый по одноименному мультику. Дедушка был царевичем, я, естественно, Прекрасной, а обязанности «ковра несказанной красоты», который следовало соткать за одну ночь, исполняли поочередно два бабушкиных шифоновых платка, прошитые золотыми нитками, – розовый и голубой.

Я не помнила дедушкиного лица – оно было размытым. Я помнила чувство – и теперь, тридцать лет спустя, моя кожа, мой мозг жадно помнили почти осязаемую атмосферу теплой, уютной любви, накрывавшую меня, как волшебный шатер – как каменный дом, который невозможно разрушить, как вечность, которую невозможно стереть.

Родители развелись, когда я училась в четвертом классе. Отец сразу женился на той, из-за которой они развелись, – с тех пор я видела его пару раз. Помимо меня, у него было трое детей – их я не видела сроду. Мать вышла замуж и переехала к мужу в Керчь. Там было море, но не было пляжа, потому даже летом мы виделись редко.

Ее замужество совпало с моим шестнадцатилетием. Я бросилась в мир как с вышки, бросилась первая – верно, поэтому никогда не считала себя брошенной ею. Мама предложила мне выбор: уехать с ней или остаться в Киеве с бабушкой Люсей. Но налаживать отношения с незнакомым мужчиной, вписываться в новую семью мне не хотелось так же, как покинуть столицу, квартиру, в которой я выросла, мой двор, мою школу, мое Байковое кладбище... Всю жизнь я была благодарна маме за то, что она не стала навязывать мне

свое счастье.

И если впоследствии в рваные дни я, как и все, скулила о недостатке единственного – способного защитить, понять и согреть, то был вовсе не комплекс девочки, выросшей без отца и оставленной матерью, который мне упрямо пытались навесить все, кому не лень, а лишь ностальгия по благословенному Эдему моего детства, когда был жив мой любимый дедушка Саня.

Обычно от пятилетних детей скрывают смерть близких, прибегая к спасительной лжи. Мне сообщили о смерти дедушки в тот же день. Я помню, это был удивительно счастливый и солнечный майский день, который, по моим детским меркам, мог приравняться к такой взрослой удаче, как заключение сделки на миллион, – я нашла в песке синее стеклышко и блестящий камешек, выпавший из чьей-то броши. И когда мама пришла за мной в детский сад, бросилась к ней, визжа о выпавшем на мою долю счастье:

«Мамочка, я нашла...»

Я не успела добежать до ее объятий.

«Умер твой дедушка», – сказала она. И меня отбросило от нее волной пустоты.

Да, я удивительно помню тот светлый, еще не погасший вечер, и эту фразу, и интонацию, и ворота детского сада, и маму, которая долго стояла, глядя на меня, не пытаясь успокоить, обнять, соврать, заслонить от смерти, маму, которая дала мне право самой пережить свою потерю. Я помню себя,

плачущую от чувства вины за то, что весь день, радуясь своим сокровищам, я была так неправильно счастлива. И помню, что плача я не чувствовала боли. Ни тогда, ни потом я не ощущала извечной пугающей странности: «Как же так? Он был, а теперь его нет».

Потому что мой дедушка Саня Был для меня всегда. И я любила его могилу на Байковом так же ясно и радостно, как любила его при жизни. Я любила походы туда, когда мы с бабушкой Люсей убирали ее, подметали и мыли плиту, садили цветы, подвязывали плющ на ограде и подолгу сидели рядом с ней на скамейке. Этот холмик под мраморной табличкой был для меня символом вечной любви ко мне. Нет, не символом – просто местом, где находился мой дедушка.

И поэтому кладбище никогда не было для меня мертвым. Все памятники вокруг были моими друзьями, соседями, знакомыми, предметами подражания. Балерина, спровоцировавшая меня на двухгодичные занятия в хореографическом кружке. Меланхоличные мраморные плакальщицы, на которых мне так хотелось походить, – в детстве я часто представляла себя прекрасной вдовой, стоящей в черной вуали у могилы покойного мужа. И даже моей первой детской любовью стал памятник – бронзовый юноша на могиле...

Повзрослев, я часто ходила на Байковое одна. Я назначала там свидания поклонникам, и мы собирали одуванчики у крематория и плели из них венки. Мне нравились похороны, заунывная, тревожно-сладкая музыка и устилающие дорогу

растоптанные цветы. Цветы мне было жалко, я подбирала их и приносила домой. И долго насмешничала, узнав о всеобщем суеверии «Никогда ничего не приносите домой с кладбища – умерший придет к вам за своей вещью». Мертвые никогда не приходили ко мне за своими цветами. Мертвые друзья никогда не мешали мне жить.

И мне нравилось смотреть, как в церкви Святого Воскресения отпевают покойных с восковыми лбами, опоясанными бумажными лентами. Мне нравилось, забредая в глубь кладбища, рассматривать неизвестные могилы и представлять, какими были покоящиеся там люди. Подсаживаться на прильнувшую к ограде скамью, есть прихваченные с собой бутерброды, читать вслух Цветаеву:

Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

Мне нравилось быть там, ибо нигде я не чувствовала себя так спокойно и умиротворенно, как за воротами Байкового кладбища.

Я полюбила навещать дедушку без толпы родственников, которым невозможно объяснить, что он не их шурин, брат или дядя, а прежде всего мой дедушка, потому что он любил меня больше всех. Он был и остался моим и только моим – навсегда.

И меня огорчало, что на могильной фотографии у него такое несчастное лицо. «Не грусти, дедушка, ведь я же пришла к тебе», – говорила я, прикасаясь пальцами к его губам. И улыбалась ему, словно надеялась, вот сейчас уголки его рта дрогнут в ответ. Я не удивилась бы, если б он улыбнулся...

Да, от меня не скрыли его смерть. Когда он болел, от меня не скрывали и то, что он скоро умрет. И, сидя за столиком возле его постели, разрисовывая альбом акварелью, я размешивала в пластмассовой формочке красную краску и думала: «Нужно сделать кровь. Она понадобится, когда дедушка умрет...»

Это была поразительно бытовая мысль. Быть может, только в пять лет мы умеем воспринимать смерть органично, как факт, который по сути ничего не меняет? Потому, даже когда мне сказали: «Твой дедушка умер», он не перестал быть у меня. Я никогда не горевала о нем, потому что никогда не воспринимала его как нечто прошедшее. Он всегда был со мной и любил меня всегда.

Иначе как объяснить, что, заходя за ограду его могилы, я попадала в ту самую атмосферу теплой любви, защищающую меня от мира, как теплое пуховое одеяло.

Глава вторая

Дорогой мой, существуют две породы людей. Одна порода – многочисленная, плодовитая, как глина: они едят колбасу, рожают детей, пускают станки, подсчитывают барыши – хороший год, плохой год, – невзирая на мор и войны, и так до окончания своих дней: это люди для жизни, которых трудно представить себе мертвыми. И есть другая, благородная порода – герои. Те, кого легко представить себе бледными, распростертыми на земле, с кровавой раной у виска, они торжествуют лишь один миг – или окруженные почетным караулом, или между двумя жандармами...

Вас никогда не соблазняла такая участь?
Жан Ануй. «Эвридика»



– Марина, – окликнула я свою редакторшу. – Мне нужно уйти.

Она подняла голову – полноватая, сорокалетняя брюнетка. Типичная женщина – муж, двое детей, квартира в новострое, дача, собака, бесцветный маникюр. Типовой редактор типового журнала – телепрограммы с цветной обложкой и десятистраничным приложением. И кабинет ее был типовым, похожим на все кабинеты всех редакторов всех журналов, в которых мне довелось побывать, – светлые стены, обложки в типовых пластмассовых рамах под дерево с пошлой золотой каймой. Я ненавидела эту золотую кайму.

С детства я недолюбливала обычных людей. Им ставили типовые памятники. В детстве мне казалось, что именно красота памятника и есть главное признание достоинств человека. И когда, в восемнадцать лет, я впервые попала на Лесное кладбище, то пришла в такой ужас, что слегла в постель в тот же день с приступом тошнотворной головной боли.

Это был не надуманный – давящий, панический страх, похожий на приступ удушья. Выросшая среди мраморных ангелов, витиеватых эпитафий и склепов с колючими готическими башенками, я не могла понять, как все кладбище может состоять из инкубаторских черных памятников, похожих один на другой как две капли воды? Как бездарно должны прожить жизнь эти люди, чтоб и после смерти они были обезличены, как крупички песка?

Это было кладбище толпы, лишенное всяческой индивидуальности. Оно не шло ни в какое сравнение с обетованной землей моего детства.

С шестнадцати лет я знала: я – не как все!

В восемнадцать – записала в своем дневнике: «Быть как все – все равно что не быть вообще!»

«Дорогой мой, существуют две породы людей...» – сказал Жан Ануй.

Я, несомненно, относилась ко второй.

Марина – к первой.

– Куда ж это? – Она всегда разговаривала со мной так, словно не верила ни одному моему слову и неприкрыто ждала: «Ну-ну, что ты еще придумаешь?»

– Я иду на интервью с Доброхотовым. Театр уехал, а он остался. И мы договорились, – соврала я.

Мы не договаривались, так получилось – интервью Доброхотов дал мне вчера, лежа у меня на коленях. Он надеялся, что дам ему я, но вышло наоборот. Сумка с диктофоном валялась рядом с диваном. Окажись она в коридоре, мне было бы лень вставать.

– Кто такой Доброхотов? – недоверчиво спросила Марина.

– Сериалы «Семья», «Судный день», «Черный ангел», – старательно перечислила я. Я знала формат нашего издания.

– Хорошо, – Марина не знала, как придрататься ко мне. – Но ты должна была предупредить меня заранее. Так нельзя...

– Спасибо.

Я не нравилась ей и ждала, когда она найдет повод уволить меня. Ждала спокойно, как ждут осени. Рано или поздно это должно было случиться. Обычные люди платили мне той же монетой – и до, и после учебы в театральном они всегда увольняли меня. Только в театральном – первый и последний раз – я ощущала себя на своем месте: гениальной, любимой, такой, как надо.

И если бы кто-то поднял меня среди ночи и спросил: «Какой самый счастливый день в твоей жизни?» – я б ответила без запинки:

«День, когда я поступила в театральный институт. Лучший день моей жизни! Самый лучший. Самый!»

* * *

То было в прошлой жизни и в прошлом веке...

Но и по сей день мое поступление туда представлялось мне чем-то нереальным, незаслуженным – на грани божьего чуда. Все мои однокурсники полгода ходили на консультации, писали статьи, читали книги, пока их папы и мамы дергали за нужные связи. Я поступила без протекции, без подготовки, исключительно сдуру – заявившись за две недели до экзаменов.

Да, безусловно, весь предыдущий год на вопрос о дальнейших планах я отвечала, что собираюсь поступать в те-

атральный на театроведческий факультет. Но лишь потому, что это была хорошая отговорка и звучала она не так абсурдно, как «на актерский». И еще потому, что за год до того, когда я поступала на актерский, мне сказали: поскольку актрисы из меня все равно не получится, если уж я совсем не мыслю существования без театра, единственное, что мне остается, – поступать на театроведение.

С чего члены комиссии взяли, что я не могу жить без театра, не знаю – я тогда еще могла. Быть может, им это традиционно заявляла каждая не принятая девушка. А может, уж очень у меня был антижизненный вид: худая, как спичка, почти лысая девочка-мальчик, со стрижкой под бобрик, кожаным ремешком а-ля данило-мастер на лбу и нарисованной черным косметическим карандашом жирной «молнией» на правой щеке.

Так я демонстрировала миру свою внутреннюю сущность – мир сразу понимал, с кем имеет дело, и шугался как мог. Но в театральном «стреле» не произвела впечатления. Спустившись в подвальный институтский буфет, я отметила, здесь на меня смотрят иначе – как на свою... Непривычно приятное чувство. С тех пор мне всегда хотелось вернуться в тот театральный буфет. Но это желание было из области абстрактных мечтаний.

Я, собственно, и актрисой быть не собиралась, просто проходила мимо – в буквальном смысле. Мы с Виктором, моей первой глобальной любовью, шли по Ярославову Валу,

увидели на стене института «Приглашаем абитуриентов...»
– вот и зашли.

Виктор писал стихи и решил почитать их перед серьезной аудиторией. А мне сдавать экзамены было интересней, чем идти на работу. После школы я устроилась в кооператив – наносила позолоту на жуткие вазы из спрессованной мраморной крошки (десять рублей за обработку одной штуки) и до работы редко доходила.

Короче, я плохо представляла, что значит «театроведение», и ничуть не надеялась «на него» поступить. Но пришлось.

Во-первых, на работе (следующей после кооператива, откуда меня вскоре прогнали) в библиотеке на меня ополчилась начальница. Сначала она унесла домой свой электрический самовар, из которого мы дружно пили чай. Потом, не говоря мне ни слова, отдала деньги за кипятильник, который мы покупали в складчину, чтобы заваривать кофе в чашке, и тоже унесла. Так что я осталась без кофе и без чая.

С чего она меня вдруг невзлюбила, я понять не могла (я еще не читала Ануя!). Но ее тоже звали Марина. И день за днем мы сидели в микроскопической комнатухе вдвоем, лицом друг к другу – и напряженно молчали. Перед обедом я быстро съедала всухомятку свой бутерброд и уходила, так как в обед она спала на письменном столе, завернувшись в одеяло, а мешать спать такой, как она, было равносильно самоубийству.

В то лето я не помышляла о самоубийстве. В обед я бездумно слонялась по городу и однажды от нечего делать забрела в театральный на консультацию.

Ну а поскольку, подписывая заявление на «отпуск для поступления», директор библиотеки (косящийся на меня с подозрением с тех пор, как увидел, что в рабочее время я в поте лица вдохновенно обклеиваю блестками туфли) сказал: «А может, тебе лучше вообще уйти?» – мне, в общем, ничего не оставалось, как поступить.

А так как во время вступительных экзаменов: у нас с бабушкой обокрали квартиру (вынесли телевизор, кассетный магнитофон и мое золотое обручальное кольцо), моя предполагаемая свадьба расстроилась, Виктор бросил меня и уехал в другой город, – мне совершенно некогда было волноваться. А так как поступать в театральный и не волноваться на экзаменах – стопроцентное хамство, наш будущий руководитель курса счел меня убежденной нахалкой и, удостоверившись, что основным качеством для подобной специальности я обладаю, принял на курс.

* * *

Да черта с два я б поступила, если б не наш И. В.! Игнатий Валерьевич с романтической фамилией Сирень.

Черта с два я б поступала, кабы не он... Он был «во-вторых». На консультации выяснилось, что «нас набирает» рос-

кошный мужчина. Я думала, таких не бывает. Ростом, как две меня, какие глаза, трудно понять – слишком до них высоко, но то, что он брюнет, я разглядела.

Но главное – он был так похож на моего дедушку! Не думаю, что я сформулировала это, просто унюхала звериным чутьем. Рядом с ним я сразу ощутила себя в абсолютной безопасности. И мы сразу начали разыгрывать друг перед другом спектакли.

Второй раз я явилась к нему подготовленной – наскривав пару эссе и облачившись в свое свадебное платье. Моя свадьба уже трещала по швам, а платье следовало как-то использовать. Тем паче догадаться, что сей туалет – свадебный, было непросто. Широкая юбка из прозрачного черного нейлона (вместо белья я поддевала под нее велотреки). На ногах сверкали серебряно-золотые туфельки, стоившие мне работы. От рождения скромные туфли фабрики «Киянка» были школьно-коричневыми и мечтать не могли о столь блистательном будущем. Но, сшив между собой несколько метров сверкающих блесков, я собственноручно оклеила их по спирали с помощью несказанного усердия и клея «Момент» (после каждого выхода в свет блестящие полосы отваливались, и их нужно было цементировать заново).

Роскошный низ дополнял не менее концептуальный верх – черный лифчик из блестящей клеенки с глубоким вырезом и кровавою надписью «I love you» вдоль груди (в идеале я хотела пойти под венец с любовным признанием, напи-

санным собственной кровью, но по мере охлаждения чувств ограничилась красной краской).

И. В. задумчиво посмотрел на мое «I love you», прищурился на мой вырез, прочитал мои работы и вдруг засадил не в бровь, а в глаз:

«Вы что, собираетесь меня соблазнить? Думаете, "Если у меня в голове ничего нет, пусть он хоть туда посмотрит"?»

Сначала я едва не спросила: «А что, в голове ничего нет?» Но, опустив это, задала более важный вопрос:

«А что, ТАМ что-то есть?» – Я так страдала из-за своей плоской груди!

Видимо, Игнатий Сирень убедился в своем мнении насчет моей головы, потому что ответ его совершенно удовлетворил.

Позже в его изложении это звучало так: «Заявляется голая с вырезом до пупа... На следующий день полная смена образа. А-ангел! Белые носочки, туфельки с бантиками, юбка до пола, блузка до подбородка, а под подбородком... – Игнатий Валерьевич делал театральную паузу, – ...КАМЕЯ». – «Не камень, а ветка сирени. Это был символ!» – вступала в спор я.

Думаю, за эту камею-сирень я и получила допуск к экзаменам.

Сказать, что я была к ним не готова, все равно что назвать оградкой Великую Китайскую стену. Я успела пролистать всего две книжки – «Энциклопедию юного театрала» и «Проблемы современного театра», принадлежащие перу са-

мого И. В. Их оказалось достаточно.

На финальном «Собеседовании» меня несло по морю на всех парусах, без руля и компаса. Это походило на любовь: едва я открывала рот, из него вылетала восторженная ерундистика – зато без остановки и вне зависимости от вопросов, которые мне задавали!

В итоге меня занесло до утверждения: «Реализм на сцене изжил себя, и нужно искать для него новые формы или отбросить совсем».

Лица приемной комиссии подозрительно застыли. Но по причине полного отсутствия подготовки я плохо представляла, что мое заявление сродни предложению отправить на гильотину всех признанных украинских мэтров, и, безусловно, стала бы развивать идею дальше, но здесь Игнатий Сирень умудрился прервать меня – видно, для него это было апогеем:

«Что за ахинею вы несете?!»

Если бы он стукнул меня в лоб, вряд ли бы это произвело большее впечатление – я замерла с открытым ртом, а он, воспользовавшись образовавшейся паузой, кивнул похожей на Сфинкса гранд-даме в очках, предлагая ей задать мне новый вопрос.

Тут я наконец очнулась и, глядя на него чуть ли не со слезами на глазах, спросила:

«Вы что, со мной не согласны? Но ведь я же вас цитирую!»

Тут онемел уже он (наверное, только выйдя из аудитории,

Игнатий Сирень вспомнил, что ничего подобного он никогда не писал).

Положение спасла преподавательница в черных очках. Позднее я узнала, что лет двадцать назад она была и его преподавательницей.

«Ну, вы оба еще молодые и категоричные», – примирительно сказала она.

Впоследствии Игнатий признался, что взял меня вопреки ее грозным предостережениям: «Она развалит вам курс. Она принесет вам на лекцию кошку с собакой, и вы будете их разнимать!» Взял исключительно за нахальство – ему нужен был лидер.

Он получил и своего лидера, и кошку с собакой. Пять лет он позволял мне крушить все догмы и правила, которые я разламывала в поисках своего «я». Пять лет он ставил свои лекции на вторую пару лишь потому, что я регулярно просыпала первую. Пять лет он разрешал мне заедаться с ним у всех на глазах, стоять на голове и танцевать на его парах канкан... Без преувеличений!

На третьем курсе я брякнула, что могу доказать бездарность режиссера Хорьковского, даже стоя на голове. «Давай, становись», – не моргнув глазом И. В. Не моргнув глазом я заправила юбку меж ног и встала в стойку.

На первом курсе, в первый же день учебы, отмеченный лекцией по театральной критике, я, размахивая лозунгом «Поздравим шефа с началом занятий», талантливо сорвала

все пары.

На «Истории Западно-Европейского театра» – плела венки из роз, хризантем и засушенных виноградных веток, сагитировав принять участие в моем хитросплетении всех, от однокурсников до преподавательницы. На «Украинском языке» мы вместе с педагогом надували и расписывали любовными признаниями шарики. На третьей паре, когда И. В. вошел к нам, под ноги ему полетели цветы, вспрыгнув на учительский стол, я надела на голову Сирени венок, на шею – ожерелье из воздушных шаров и, усадив на скамейку, совершенно ошарашенного, провозгласила: «Учебно-драматический спектакль «Грезы любви». Почти стриптиз», – чем испугала уже окончательно.

В случае со мной стриптиз мог оказаться возвратом к сценическому реализму. Ему повезло. Выстроившись в ряд, наши девочки запели, неумело задирая ноги: «Без Игната жить нельзя на свете... Нет! Он – наше счастье, наших знаний свет!»

Арина наяривала на пианино. Я орала громче всех. Капустник продолжался около часа и закончился грозным:

Поцелуй же нас, ты нам нравишься,
Поцелуй же нас, не отравишься,
Поцелуй же нас, а потом мы вас,
А потом мы все РАСЦЕЛУЕМСЯ!

Во внезапно воцарившейся тишине я сосчитала: «четыре,

три, два, один... пуск!» – и первая бросилась лобызать руководителя курса.

«Я знал, что вы ненормальные, но что до такой степени!...» – сказал Игнатий Валерьевич. Он смотрел на меня.

Естественно, сценарий и постановка были моими. Естественно, в устах И. В. «ненормальная» – было комплиментом.

* * *

Но там, в театральном, – среди таких же ненормальных, как я, – я была благословенно нормальна и надежно защищена от невыносимой реальности мира. И дело было не только в Игнатии – мир театра, такой непохожий на унылую, настоящую жизнь, окутал меня разноцветным лоскутным одеялом.

«Я поступила в театральный институт, чтобы спастись от нее, – честно написала я в институтской газете. – Среди нормальных людей я всегда считалась идиоткой, бездельницей, в крайнем случае, чудачкой. А здесь, куда ни глянь, все такие. Жизнь и реальность – тут существа инородные».

«А можно узнать, – леденисто поинтересовалась на лекции сфинксоподобная дама в очках. Она преподавала у нас «Теорию драмы», – что значит «здесь все такие»? Кто я, по твоему, идиотка, бездельница или чудачка?»

«Вы – неординарная личность!» – отчеканила я с убежденностью фанатичного пионера Пети.

В ответ Сфинкс улыбнулся...
Мы учились в театральном!

* * *

«А знаете ли вы, в принципе, значение слов «театр», «драма», «комедия»? – опубликовала я юмореску в театральном журнале. – Позвольте мне усомниться!

Начнем с того, что бог дионис, покровитель театра и поэзии, также бог вина и плодородия (секса!), и поэтому греки изображали его в виде быка или козла. (Неплохо для начала?) Его свита (то есть люди, чья профессия связана с театром) на празднествах в его честь состояла из ряженных в козлиные шкуры, распевających песни, часто весьма непристойные.

Торжественная часть праздника дала рождение трагедии, а шутивная – комедии. Слово «трагедия» происходит от слов «трагос» – козел и «оде» – т.е. песня козлов. А «комедия» от «комос» и «оде». «Комос» – шествие подвыпившей толпы, той, что в козлиных шкурах.

То есть торжественные песни собрания козлов – это трагедия, а когда козлы напьются до непристойности – это уже комедия.

И чему в результате я должна посвятить свою жизнь?!
Изучению роста козлиных музыкальных способностей в течение двадцати с лишним столетий?»

Пять лет наши педагоги посмеивались, поминая мне этот шедевр:

«Спасибо, что наконец разъяснила нам, чем мы тут занимаемся».

Но моя расшифровка была неприлично близка к истине. То было невероятное, восхитительное, нереальное место – сборище странноватых людей, находящихся в перманентном самоопьяняющем вдохновении.

Только в нашем институте все студенческие «выбрыки» считались проявлением яркой индивидуальности. Только в нашем институте ходила байка: «Чтобы тебя исключили из театрального, нужно уйти в запой на пять лет или переспать с женой ректора. Иного способа нет». Только в нашем институте педагоги не являлись на занятия чаще, чем студенты. И если студенты не приходили частично, преподаватели по причине своей единичности отсутствовали целиком, а бывало, и в полном составе.

Я помню, как наша группа сидела и ждала три пары подряд, и ни один из сеятелей «разумного, доброго, вечного» так и не появился. Я помню, как на первом занятии учительница по изобразительному искусству попросилана самосто-ятельно посетить Софиевский заповедник и прочитать две книги по его истории, после чего мы ее больше не видели.

Через месяц, по настоянию масс, я, как староста группы, попыталась определить ее местопребывание или хотя бы номер телефона. После долгих приставаний ко всем и вся и по-

пытках оных от меня отвязаться я выяснила, что она уехала в Германию (о чем сообщать нам, ожидающим ее в Киеве под дверью четвертой аудитории, сочли необязательным) и, может быть, еще вернется. И помню, как, вооруженная транспарантом «Мы хотим учиться!», я повела наших девочек на лекции по «ИЗО» к третьекурсникам (их преподаватель считался лучшим).

С тех пор мы ходили туда. Нас никто не прогнал. Нашу изошницу, так и не вернувшуюся из Германии, – никто не уволил. Лекции третьего курса совпадали по времени с нашей «Информатикой», мы ее пропускали – это никого не смущало.

Мы учились в театральном!

Я помню, как на первой лекции Сфинкс сказала: «Откройте конспект. Сейчас я научу вас профессионально пить. Не пьянея», – аргументированно объяснив, почему театровед (разум театра!) обязан владеть сим великим искусством. Я помню, как на «Истории западной литературы» мы с преподавательницей две пары обсуждали «А существует ли Бог?» – и нам и ей это вдруг показалось важнее, чем ее предмет. И помню, как, сдавая экзамен по «Русскому театру», Арина, не выучившая ни одного билета, получила «отлично» только за то, что двадцать минут, не затыкаясь, читала учительнице ее любимого Блока:

Так жили поэты. Читатель и друг!

Ты думаешь, может быть, – хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?
...Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта – всемирный запой,
И мало ему конституций!

«И этим сказано все, – удовлетворенно кивнула педагогиня. – давай зачетку, милая...»

Мы учились в театральном!

Я помню, что, говоря о Театре, все наши педагоги закатывали глаза – включая физрука и учителя по гражданской обороне, на полном серьезе убеждавшего нас: для театроведа, как для человека, влияющего на формирование душ, самое главное изучить гражданскую оборону! А именно: научиться тушить пожары, предупреждать землетрясения, быстро решать в уме задачки на определение уровня радиации, дабы донести свои знания до человечества, которое, осознав ошибки, начнет избегать все перечисленные выше неприятности и экономит деньги, идущие на ликвидацию их последствий, для развития культуры и искусства. (Он не шутил!)

На физкультуре учитель сказал, что для театроведа – главное бег, и в Америке человека, не способного пробежать шесть кругов вокруг стадиона, никогда не изберут в президенты. Тут я не спорила даже мысленно. Для театрального

критика, тем паче такого, как я, после иной статьи умение пробежать за кратчайший срок километр по прямой могло оказаться немаловажным. Но в то время у меня не возникало нужды спастись от ответственности бегством – я пряталась за широкой спиной И. В.

Даже в вотчине всех безумств, театральном институте, я исхитрилась прослыть нарушителем спокойствия, больным на всю голову и способным на все. Уже на первом курсе я начала публиковать в газетах разгромные статьи, и к нам на лекции прибегали режиссеры из театров. «Это невыносимо. Она же студентка. Что она себе позволяет!» – кричали они, заглядывая Игнатию Сирени в глаза. «Ну что вы хотите, она же ненормальная», – склабился он.

Я знала (И. В. сам рассказывал мне), все наши педагоги считали, что он позволяет мне слишком уж много. Я знала, услышав, как мы обмениваемся с ним в коридоре задиристыми шутками, сфинксоподобная дама в очках кричала, что лично надаёт мне по щекам («Это невыносимо. Она же студентка!»).

Но они прощали мне все, потому что прощали ему абсолютно все. Он был любимчиком наших театранес – красавец-мужчина, автор блистательных книг и статей – истинный Бахус, в венке из виноградных ветвей, возвышающийся над ряженой театральной тусовкой.

Я знала, они ревнуют его ко мне. Знала, меня считают его любовницей. Для театрального это было нормально...

Но мы не стали любовниками, я не была в него влюблена, он не был влюблен в меня. И все-таки я была его Василисой Прекрасной. «Ты самая ненормальная из всех», – любил повторять он. А на пятом году сказал: «Поступай в аспирантуру, окончишь, возьму тебя вторым педагогом на курс».

Я не поступила... После получения диплома я больше не видела И. В. И не звонила ему. Я знала, он не простит мне обиды и вряд ли захочет увидеть меня. Он слишком верил в меня, чтобы увидеть, как лидер его курса превратилась в очередную лягушку-неудачницу.

* * *

– Красельникова! – остановила меня литредактор.

Ее ручка утыкалась в растрепанную верстку моей светской хроники. Лицо с брежневскими бровями было серьезным:

– У Мерилин Монро было двенадцать абортов?

– Во всяком случае, про девять я знаю точно, – ответила я ей в тон.

Ручка переместилась.

– Леонардо ди Каприо – полный «ноль» в постели? Ты в этом точно уверена?

– Спросите Марину. Это она сказала. Видимо, знает...

Я вернулась к столу, сунула сумку под мышку и с облегчением нажала на кнопку компьютера. Лишь сделав это, я

поняла, что не выключаю, а включаю его.

Компьютер загудел. Я раздраженно смотрела, как зажигается экран – типовое голубое небо и зеленое поле. Я так и не сменила «обои». Мой монитор был просто щитом – я пряталась за ним.

Я не могла писать в этой общежитской комнате, где сидело шесть человек. За три года работы в журнале я окончательно убедилась, что не создана для штата. В пятницу я дожидалась всеобщего ухода и тупо делала за вечер недельную работу. А в рабочее время сидела за столом, читала журналы, прикольные статьи в Интернете и размышляла о том, как бессмысленно я каждый день трачу восемь часов своей жизни. Но не уходила. Я не знала, куда мне идти. Я не знала, где моя жизнь станет осмысленной.

«Раз уж включила...» – подумала я.

Стрелочка мышки оживила «конвертик» почты. Почтовый сервер концерна отсеивал спам, и в «приходящих» было одно сообщение – очень короткое:

Чтоб ты сдохла, сука!

Но, ставшая неотъемлемой от «я» мысль о самоубийстве исчезла, как исчезает неприятный привкус во рту.

Внутри меня сидел огромный секрет.



Несколько секунд я стояла на ступеньках высокого офисного здания, наслаждаясь обретенной свободой и борясь с труднопреодолимым желанием вернуться домой. Следовало позвонить Марине утром, соврать про интервью и никуда не ходить. Так бы я и сделала, если б выпила кофе. А теперь... слишком глупо.

Мне хотелось оказаться дома, открыть холодильник и сказать Андрею, что я не брошу его – все хорошо!

Мой так и не вызванный мент круглоглазо посмотрел на меня – он больше не сомневался, что имеет дело с законченной шизофреничкой.

«Ты не понимаешь!» – раздраженно дернула я плечом.

Когда дело касалось смерти, никто не понимал меня. Никто, кроме Ануя, Блока, Булгакова, Микеланджело, Гете, Клейста, Цветаевой, чьими высказываниями я исписала когда-то мой творческий дневник. И я давно привыкла, что кроме них меня не понимает никто.

Я сделала шаг...

Вперед?

...к переходу.

Моя жизнь напоминала заевший семафор, подмигивающий желтым зрачком – ждите, ждите, ждите – бесчисленное количество раз.

Мент шел за мной, неотделимый от сознания, разбухшего от неразгаданной смерти. Машины на проспекте Победы застыли в пробке. Лето раздело женщин почти донага. Но труп Андрея в моем холодильнике делал *этот* мир нереальным.

Творческий дневник нас заставлял вести тот же И. В. «Вы будете отбиваться от меня, но я все равно буду настаивать. В дальнейшем это вам пригодится для работы, поверьте мне на слово», – сказал он на первой не сорванной лекции. Я поверила и спросила: «А если кто-то уже ведет дневник, вести теперь два? Один любовный, второй – искусствоведческий?» И, получив высочайшее разрешение их совмещать, торжественно возвела свой дневник в ранг «творческого».

Я была единственной, кто вел «творческий дневник» все пять лет, и уж, конечно, единственной, кто вел его до сих пор. Я была единственной, кто чувствовал себя на лекциях шефа как рыба в воде... На нашем курсе собралось семь девочек – от семнадцати до двадцати шести. Некоторых я восхищала, некоторых раздражала, иные чередовали два чувства.

Но не менее спорные чувства вызывал у них сам И. В. Его веселая наглость, бесцеремонное панибратство, привычка непрерывно пробовать нас на прочность и, азартно сверкая глазами, ждать, сможем ли мы ответить ударом на удар, – казались им столь же непозволительным хамством, как мои выходки очкастой гранд-даме. Они зажимались и прятались в свою скорлупу. Они не желали играть в его спектаклях.

Они не понимали, что это просто игра.

Он постоянно подначивал нас! Первый вопрос, который Игнатий задавал поступающим (перед вторым, менее важным «Зачем вы идете в театральный?»), «Когда вы собираетесь уйти в декрет и родить мне... то есть не мне, ребенка?» Видимо, мысль, что мы можем сделать это все сразу, развалив его курс на корню, стала навязчивой идеей, беспрерывно приводящей его в ужас.

На первом курсе мы отмечали мой день рожденья на паре. И. В. подошел ко мне с бокалом в руках и, начав со слов «Хорошая моя...», нагнулся, поцеловал в щеку и прошептал все остальное на ухо. Я замерла, группа тоже, но по разным причинам. (Как думаете, что он сказал мне? «Хорошая моя, сделай, пожалуйста, стенную газету. Институт требует. Ну хотя бы ради меня».)

Наших барышень это шокировало. В еще больший шок их повергло первое занятие по театральной критике. Две пары подряд мы разбирали первую строчку (!) первой ремарки (!) первого явления пьесы «Горе от ума».

В частности, что происходит ранним утром за дверью в спальню Софии, где пребывает Молчалин и «откудова слышно фортопiano с флейтою»?

– Были ли Софья и Молчалин любовниками? – Игнатий Валерьевич швырнул нам вопрос, как перчатку.

Ответ казался само собой разумеющимся:

– Нет, – ответила Галя. Ей было семнадцать.

– Почему нет? – И. В. по-мальчишески засунул руки в карманы и прошелся по аудитории, предвкушая удовольствие.

– Об этом не сказано в пьесе.

– Мало ли о чем люди не скажут вам вслух, – отметелил И. В.

– Там сказано «слышно фортепьяно». Нельзя играть на фортепьяно и заниматься сексом одновременно, – включалась я.

– Ты уверена? Или ты просто не пробовала? – оживлялся И. В.

– Ну... – Я честно пыталась представить подобную позу. – Теоретически, если Софья нагнется и будет играть, а Молчалин пристроится сзади, играя при этом на флейте...

Именно из-за таких вопросов Игнатий и прослыл пошляком. Именно из-за таких ответов он взял меня на курс. Я с легкостью отбивала его удары, я сразу вступила в игру, не сразу осознав, что это не игра, а учеба.

Пять лет И. В. выкручивал нам мозги своими вопросами, он крутил их, как уши ленивым детям: думайте, думайте, думайте. Пять лет он называл нас исключительно «слепоглухонемые идиотки», презрительно отфутболивая наши гримасы целомудрия, черно-белые попытки делить героев на «хороший», «плохой», привычку хватать то, что лежит на поверхности.

Весь первый курс мы сходили с ума. Многие ломались, многие не понимали, чего он хотел. Многие так и не поняли,

в чем состоит наша профессия – театроведение.

Я не понимала, почему остальные не понимают его! Лишь много позже я осознала: за исключением меня и Арины, все наши девочки были нормальными (за пять лет три из них вышли замуж, две из трех таки улизнули в декрет). И «вы – ненормальные» – не было для них комплиментом!

И все же нужно быть ненормальным, чтоб видеть жизнь без прикрас – не прикрываясь ни целомудренным «об этом нельзя говорить», ни игрою на фортепьяно и флейте.

Театр – самое условное из искусств – надменно отторгал все людские условности. Препарирующий самые черные страсти героев самых черных трагедий, театр учил тебя понимать даже убийц.

Но театр – отражение жизни. Пять лет Игнатий Сирень крушил наши иллюзии, уча принимать жизнь такой, какой она есть. Пять лет он учил нас анализировать каждое слово пьесы, каждый жест актера и ставить под сомнение каждое слово и жест.

И по сути своей театроведение было очень похоже на работу психолога или следователя...

* * *

Проходя мимо дешевых лотков, я купила еще одну порцию кофе и опорожнила пластиковый стаканчик залпом – как стопку водки. Села на остановке маршрутки, достала из

сумки дневник и написала на чистом листе: «Действующие лица».

Учась в театральном, я проглотила тысячи пьес. Я знала, нормальные люди не любят читать пьесы, но мне нравилось, что, в отличие от прозы, в драматургии все так емко и ясно – никаких длинных, ненужных отступлений, описаний природы и чувств – действие мчится вперед, вся необходимая доп. информация умещается в коротких ремарках.

Я приписала сверху название и жанр:

МОЙ ТРУП

детектив

Действующие лица:

Андрей – труп

Александра (Саня) – не убийца

Арина – лучшая подруга Сани

Инна – случайная гостья

Доброхотов, Женя, Рита – ребята из московского театра, давние друзья Сани

*Янис, Сашик и Оля – еще более давние друзья Сани
(Мы дружим две тысячи лет. С ребятами из театра – чуть меньше.)*

С минуту я смотрела на список, принуждая себя поверить, что кто-то из них убил Андрея...

Немыслимо!

«И все же вам лучше начать мыслить здраво, – скрипуче заметил мой мент. – Если вы – не убийца, – присовокупил

он с паскудным сомнением, – значит, это кто-то из них».

«Значит, – довольно спросил Игнатий Сирень, – ты убеждена, что никто из персонажей не мог убить Андрея? Тогда докажи!»

Я улыбнулась этому забытому вызову – стоило ему прозвучать, мир стал простым и уютным.

Мог ли кто-то убить Андрея?

«Мог ли герой на сцене уронить карандаш?» – тиранил он нас.

– Мог, – по-моему, это сказала Арина.

– Докажи. Ты – театральный критик. Ты должна доказывать каждое свое утверждение.

– Он испугался.

– Чего? – не унимался И. В.

– Что его ложь разоблачат.

– Разве это сообщение угрожало ему?

– Нет...

– Может, он нервный, неуверенный в себе человек, вздрагивающий от каждого слова?

– Нет, он очень уверенный.

– Значит, он не мог уронить карандаш. Это просчет режиссера. Он втюхал карандаш просто так...

Ни в спектакле, ни в пьесе ничего не могло быть «просто так»! Любое «просто так» резало глаз, выпадало из жанра, истории образа, рисунка роли. На сцене все делали зачем-то! Все слова и поступки характеризовали персонажа, разобла-

чали персонажа, двигали действие вперед. Оказалось, это не так-то и просто вгрызться в образ, разобрать его до костей и понять: он не мог уронить карандаш. Это было похоже на любимую присказку Пуаро Агаты Кристи, способного отыскать убийцу не вставая с кресла и повторяющего: «Это было так, потому что иначе быть не могло».

Но смерть Андрея не могла быть просчетом режиссера, а значит... Кто-то убил его, потому что не мог не убить. Кто-то не мог не уронить карандаш!

Я редко применяла свои навыки в жизни – в жизни я была обычным зрителем, охотно прощающим создателям действия любой явный ляпсус. Но нынче, когда в моей и без того спорной жизни обнаружился труп, прежняя профессия дала знать о себе раньше, чем я узнала знакомый театроведческий зуд.

«Мой милый труп» – так назывался спектакль нашего курса. Накануне дня театра нам сказали: по традиции первый театроведческий должен сделать представление на студенческой сцене.

Занавес раздвигался. Я лежала в гробу, с книгой в руках. Воскресала, садилась, открывала книжку и зачитывала залу загробным голосом: «"В этот трагический век, когда театр почти прекратил свое существование", – сказал драматург джеймс Шерли в 1647 году... Но театр оказался бессмертен!» – я выскакивала из гроба.

Для меня театр умер десятилетье назад. И вновь оказался

бессмертен!

Итак, «Мой труп», детектив. Сверхзадача – узнать, кто убил Андрея.

«А какая тема и идея?» – подал голос И. В.

Я нахмурилась, припоминая учебник по теории драмы. Тема «Ромео и Джульетты» – любовь. Но может ли быть темой убийство? Нас не учили анализировать детективные пьесы – этот пустопорожний жанр. Ни один уважающий себя режиссер не станет выгонять актеров на сцену лишь для того, чтоб узнать, кто сделал труп трупом. Да и сколько их, детективных пьес? «Мышеловка» Агаты Кристи. «Инспектор пришел» Джона Пристли. Но у Пристли смерть – только завязка. Тема – буржуазные нравы. И это вовсе не детектив, а драма.

Я решительно вымарала «детектив». Трагедия, трагикомедия, мелодрама, драма, «черная» комедия, комедия-буфф, фарс, гиньоль, театр абсурда?..

И первая задача понять, что за пьеса разыгралась вчера.

Я живо представила нас – себя, Арину, Яна и соопрану, похожих на героев Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Мы сидим и обсуждаем, в каком жанре выступаем на сцене и кто из нас тайный автор.

Расхожий прием: театр в театре.

Автор пьесы – и есть убийца! Достаточно точно охарактеризовать персонажей, чтоб понять, кто не мог ее не написать... Простейшая вещь – образ героя в спектакле – курсо-

вая второго курса.

Где-то в районе груди заерзал забытый азарт первой ученицы группы.

Следовало с кого-то начать, и я предпочла начать с самого легкого:

«Арина – лучшая подруга Сани».

Я набрала ее номер.

Глава третья

*Пусть поймут скучные философы отчаяния,
периодически открывающие с некоторой долей
наивности ужасы человеческого удела и
пытающиеся помешать нам развлекаться в
театре: мы забавны!*

Жан Ануй



– Да! – недовольно рявкнула она из ниоткуда.

– Это я.

– А, это ты... – Ее голос расслабился. – Как ты?

– А ты как? Когда вы вчера закончили? – Я встала со скамьи и, прижимая к щеке телефон, пошла по проспекту.

– Сегодня. «Доброй ночи, точнее, доброго утра». – Это была цитата из спектакля. – В семь утра москвичи поехали за вещами в гостиницу и в аэропорт...

– А остальные?

– Поехали их провожать.

– А ты?

– А я на работу. Вымыла у тебя голову, и к своим уродцам. – «Уродцами» Арина звала подчиненных, и, судя по всему, сегодня они вели себя неплохо, иначе бы были «уродами».

– А что вы делали, когда я пошла спать?

– Да все как обычно. – Голос Арины лениво потянулся, прежде чем перечислить неизменное меню заведения. – Ян и Сашик поссорились...

– Из-за чего?

Отрепетированная информация и такая же отрепетированная реакция на нее. Все в нашей компании произносили ее с одинаковой интонацией. Первая фраза звучала с усталой обреченностью. Вторая – с мазохистским любопытством.

Наши голубые друзья ссорились каждый раз. Их ссора была не новостью, а неотъемлемой частью программы. Новостью было бы, если б они не поссорились.

– Яну не понравился телесюжет о Сашике. Ночью показывали... Янис сказал, что Сашик пиар-проститутка. Сашик заперся в ванной. Ян сломал задвижку.

– Так она вроде не сломана.

– Женя ее потом починил.

– Он – хороший парень. – Эту фразу мы тоже повторяли регулярно.

– А Доброхотов оказался ничего... – Подобной фразы в нашей пьесе ранее не было.

– У вас что-то было? – рефлекторно отозвалась я на интригу, хоть мне было нисколько не интересно.

«Общение героев строится на условно выработанных рефлексках. Они не интересны друг другу», – черкнул отрешенный театральный критик в дневник.

Мне не приходило это в голову раньше.

Мы напоминали слаженную театральную труппу с хорошо обкатанным репертуаром из двух-трех постановок. И если один начинал: «Как меня принимали студенты в Харькове!»⁴ – другой гарантированно подхватывал: «Два венка и вот...». (Перевод: я произвела эмоциональное землетрясение и намереваюсь похвастаться.) Мы говорили на нашем внутрисемейном языке, перемешанном с цитатами из спектаклей и пьес, и стороннему человеку было трудно понять наши шутки.

«Манюрка, чичирка» (женский и мужской половые органы) – так именовал их кумир нашей юности Роман Виктюк. «Мы – общество утонченных неврастеников и дегенератов» – эта шокирующая непосвященных самохарактеристика пе-

⁴ «Как меня принимали студенты в Харькове» – перефразированная цитата из пьесы А. Чехова «Чайка».

рекочевала к нам из его же интервью. «До четырех утра и белых медведей» – сомнительный словесный пассаж из древней Аринойной курсовой о киевских кабаке навечно вошел в наш лексикон. (Перевод: беспредел полный!) «С вами говорит Немирович-данченко». (Перевод: угодить в идиотскую ситуацию.)

На третьем курсе мы с Ариной работали в пресс-центре театрального фестиваля. Мне позвонил человек и сказал: «С вами говорит Немирович-данченко». – «Очень приятно. Вас слушает Константин Станиславский», – бодро ответила я. И только на третьей минуте беседы вспомнила, что в одном из фестивальных спектаклей играет реальный внук реального прародителя МХАТа – Владимира Немировича-Данченко⁵.

Арина удовлетворенно хрюкнула и добавила:

– А Оля в это время «сидела у бассейна и грустила о своей ушедшей молодости». – (Цитата из «Дамы без камелий» в переводе не нуждалась.) – Это в то время, когда мы в гостининой... – Она снова хрюкнула и замолчала, ожидая наводящих вопросов.

Согласно тексту пьесы задать их должна была я.

Саня (азартно): «И что вы там учудили?»

– Где, прости, сидела Оля? – Наша посттеатральная привычка внезапно показалась мне раздражающе-глупой.

– Сидела с Женей на балконе и делала вид, что говорит с

⁵ В. Немирович-Данченко – режиссер, драматург. Вместе с К. С. Станиславским основал Московский художественный академический театр (МХАТ).

ним на возвышенные темы, – охотно разъяснила Арина.

– А что в это время делали Янис и Сашик?

– Мирились на кухне. А что? – Столь неоправданная сме-на ее моно-любобной темы явно разочаровала Арину. – А Рита такая дура... Она три часа рассказывала мне, как раз-водит мужчин! Прошлым летом она поехала в отпуск с од-ним бизнесменом и взяла с собой только старые, страшные вещи. Такие позорные, что ему пришлось купить ей весь гар-дероб... Так и хотелось сказать ей: «Съешь лимон!»

Согласно тексту пьесы, мне следовало засмеяться.

Саня (со смехом): «Нашла кому хвастаться! "Ты ж пом-нишь наши проказы в Мобеже?"» – (Цитата из «Приглаше-ния в замок», смысл – самый прямой.)

– А оливье кто по коврику мне размазал?

– Сашик, когда они ссорились. Прости, – отмахнулась Арина от моего гипотетического упрека, – у меня утром не было времени ничего убирать. Только голову вымыть успе-ла... Доброхотов оставил мне свой телефон. Что ты думаешь по этому поводу?

– Ничего, – честно сказала я.

– Ты на работе? Не можешь говорить? – Арине хотелось обсудить свой успех, и она не видела иного оправдания для моего нежелания. Равно как и для желания говорить о чем-то другом.

– Между прочим, сегодня ночью я хотела покончить с со-бой! – ударила я.

– «Яду, дайте мне яду!» – Арина отгородилась булгаковской иронией. Но, помолчав, она все же сочла нужным вежливо поинтересоваться моими делами: – А как твой Андрей?

– Почему это мой? – напряглась я.

– Ну, хорошо, не твой. – Арине было не интересно со мной спорить.

– А почему ты спросила?

– Женя сказал, ты заперлась в спальне с Андреем. И по моему, Жене очень не понравилось, когда Доброхотов начал меня обнимать. Он так странно повел себя...

– Андрея не было со мной в спальне! – опровергла я так, будто Арина обвинила меня в убийстве.

– А... – скучливо отозвалась она, – значит, он ушел с той малолеткой. А я, как порядочная, тебя не тревожила, думала, вы там вдвоем. Знала бы, постучала, мне нужен был фен. Сегодня ко мне из министерства придут, а у меня на голове сопли, и лак на мизинце облез. Так вот, Доброхотов...

Мне вдруг показалось, что она просто не слышит меня. Что я и правда похожа на актера, позабывшего роль и несущего полную отсебятину, а Арина – на партнера, упрямо исторгающего положенный текст.

– С какой еще малолеткой? Можешь объяснить мне толком?

– Доброхотов и Женя выходили за пивом и притащили какую-то малолетку с улицы. В красной юбке. С рюшечками. Представляешь? Такие рюши носила моя тетя. Помнишь

мою тетю Свету? Она приезжала ко мне через год после развода. У меня тогда уже было агентство, и у нее аж зубы свело...

– Ко мне домой? – перебила я.

– Ну, ты же их знаешь... Ладно, мне нужно работать. – Мое нежелание обсуждать ее страсти (правильный ответ: «Доброхотов всегда к тебе неровно дышал»), хвастливых московских актрис («Ей двадцать пять лет. Что она знает о мужчинах! Но мы-то с тобой, слава богу, уже разбираемся в людях»), ее прическу и чужую безвкусицу было высказано более чем однозначно, и наша беседа сразу стала бессмысленной. – Встретимся вечером? Может, у тебя получше настроение будет.

– Еще созвонимся.

* * *

Некоторое время я стояла, неприязненно разглядывая ветхую скамейку с зеленой облупившейся краской и выломанной средней доской. Я успела дойти до следующей остановки, и она мне не понравилась – над скамейкою не было козырька. Голову напекло. Было жарко. Меня затошнило. Стоило бы что-то съесть. Но приступ тошноты породило не «плюс» 30, а наш разговор...

«Интересно, – с внезапным холодом подумала я, – а если бы я сказала, что нашла в холодильнике труп Андрея, Ари-

на бы тоже восприняла это лишь как досадную помеху, помешавшую ей тотчас, в подробностях живописать мне свою пастораль с Доброхотовым? И сказала бы: "Ладно, давай тогда встретимся вечером..."»

А ведь скорее всего так бы и было!

Самая незначительная интрижка Арины превращалась в ее исполнении в целый спектакль. Никакой общей информации, все как положено – завязка, кульминация, развязка.

«Стою я на балконе, думаю, как мне переспать с бывшим шефом. Могла ли я предположить, что буду скучать за своими служебными обязанностями? (Смех в зале.) В общем, моя первая мысль про шефа, вторая – про министерский заказ. Тут Доброхотов подходит ко мне...»

Непременные ремарки:

«Он посмотрел на мою грудь с таким видом, будто впервые заметил, что у женщин есть грудь».

Блистательные диалоги...

У Арины была великолепная память, но, как хороший драматург, она мастерски отфильтровывала лишнее. Случайный грех с Доброхотовым, показавшийся б мне тривиальной сценой, превратится в устах Арины в захватывающий авантюрно-мелодраматичный сюжет. Ей стоило бы писать пьесы. Однако Арина предпочитала сочинять свою жизнь.

Но вот беда, спектакли не играют без зрителей! Только рассказывая мне о своих приключениях, она ощущала себя

Главной Героиней – вечера, праздника, жизни. Она не могла прожить без этого чувства ни дня. Оно было необходимо ей как наркотик.

А значит, по крайней мере, она не убивала Андрея и не засовывала труп в холодильник. Даже если ночью на кухне давали детектив, Арина была занята в другой постановке – в ее распоряжении был Доброхотов, ревнующая Оля, у которой был с Доброхотовым вялый роман, и Женя, который, по мнению Арины, мечтал оказаться на месте Доброхотова.

Все роли в ее собственном спектакле были расписаны. Убийство не вписывалось в жанр. Настолько, что убей кто-то Андрея у нее на глазах, при таких раскладах Арина бы все равно не заметила. Точно так же, как не замечала моих вопросов... Она играла свою и только свою пьесу!

Занавес. Невиновна.

«Нет, моя нежно любимая «краткость – сестра таланта», так не пойдет...» – насмешливо протянул Игнатий Сирень.

И я провалилась во времени...

* * *

Прошлое проступило – так проступают из тьмы декорации, внезапно выхваченные светом софитов.

Когда-то я уже стояла возле этой скамейки!

Точнее, танцевала вокруг. Вон напротив здание почты – тогда там висела растяжка «С Новым годом!», на ней был

заяц с морковкой, срисованный с открытки Зарубина.

Была зима. Нога вспомнила одуряющий холод – моя голая кожа соприкасалась с подошвой сапог. На колготках зияла большая дыра (у меня был специальный кулек для колготок «под сапоги» – рваных лишь снизу).

В двух остановках находился полуаматорский театр «Арлекин». Арина ждала у входа, она просила помочь ей с рецензией. Троллейбус не шел. И я побежала, помчалась со всех ног. И кто-то сказал: «О, девочка, как припустила, наверно, на свиданье опаздывает...»

А это бежал театровед, который опаздывал на спектакль, который, как театровед, он не вправе оценивать, не увидев начала.

И. В. прожужжал нам все уши: «Если вы пропустили хотя бы увертюру перед поднятием занавеса, вы можете не понять его смысл!»

«Краткость – сестра таланта» – так он называл меня за то, что все мои курсовые умещались на пяти страницах. Мне вечно казалось, что я все поняла и все сказала. И вечно оказывалось, что я упустила из виду нечто сверхважное.

Я все-таки села на скамью – ее доски были горячими и неприятно опалили мне ноги. Я подождала, пока доска переймет температуру моей кожи, и открыла дневник.

На руках у меня тоже была своя пьеса, и, судя по рассказу Арины, события предпоследнего действия выглядели так:

1. Мой уход в спальню

2. Просмотр телесюжета

3. Ссора Яниса с Сашиком

4. Поломка двери Янисом

5. Починка двери Женей

(Возможно, именно когда Янис и Сашик ссорились, Доброхотов и Женя пошли за пивом, чтоб им не мешать, и привели девушку в рюшечках.)

6. Все разбредаются по углам: Арина и Доброхотов – гостиная, Женя и Оля – балкон, Янис и Сашик – кухня.

Конечно, стоило бы расспросить Арину подробнее. И узнать, где в тот момент были Инна, Рита и девушка в рюшечках (вряд ли сидели в ванной втроем) и когда она последний раз видела Андрея?

Но тогда Арина поняла бы, что что-то не так. А потом рассказала это...

Кому?

Милиции.

Милиции, которую я по-прежнему не вызвала. И упрямо не спешила вызывать.

– А что я им скажу? – сказала я вслух.

Что я им скажу, когда они увидят разбитую посуду, размазанный салат, перевернутую мебель? Про то, как Янис поспорился с Сашей? И, если бы я УЖЕ вызвала милицию, как бы это объяснили другие?

«Женя сказал, ты заперлась в спальне с Андреем...»

Они думали, что Андрей со мной, – Арина, Женя и все, кому он сказал. Я сказала «нет», и Арина поверила мне. И

Женя поверил бы, если бы дело не обернулось трупом. Но когда на подмостки выйдет милиция, никто уже не поверит мне просто так. И в девушку с рюшечками – не поверят, потому что Андрея нашли не с девушкой, а со мной. Когда Арина ушла, в квартире оставались лишь я, труп Андрея и следы разгрома.

Вот оно – самое важное!

В правом виске завывала сирена, предупреждая об опасности. Я улыбнулась – невесело и самодовольно. У моего абсурдного нежелания звать ментов появилась логичнейшая подоплека. В предпоследнем действии я стала подозреваемой номер один. И, как ни странно, поступила на диво разумно. Ни в коем случае нельзя было звонить в «02» сразу. Нужно убрать квартиру ненавязчиво расспросить всех, прояснить, что случилось...

А после сказать:

«Утром я проспала, опаздывала на работу, выбежала из дома в горячке. И только вечером...»

Мой иллюзорный мент напряженно кивнул – в кои-то веки объяснение показалось ему убедительным. Однако снимать с меня подозрения он не спешил.

«Но почему все решили, что Андрей был с тобой? – с нажимом спросил Игнатий Сирень. – И почему лучшая подруга поверила в это?»

Ответ казался само собой разумеющимся:

«Она просто не проверяла...»

«Почему?» – потребовал развернутого объяснения неутолимый И. В.

«Ей было в тот момент все равно».

«Лучшей подруге было все равно. Значит...»

«Ничего это не значит!»

Игнатий всегда вынуждал нас копать до конца, даже если в конце не маячило ничего хорошего. И прежде чем подпустить замаячивший склизкий ответ, я поняла, почему так редко применяла профессиональные навыки в жизни – по той же причине, по которой мои однокурсницы не желали применять их на парах – в конце никогда не маячило ничего хорошего!

«Она же не знала, что Андрея убьют...» – проямлила я.

«А если бы знала?»

А если бы я сказала Арине правду и попросила солгать во спасение? Сказать, что утром она постучалась ко мне, чтоб взять фен, и я была там одна. Она бы сделала это?

Занавес поднялся.

Я увидела Арину. Она сидела в своем маленьком, но сверкающем офисе, дико похожем на хирургический кабинет. Белые стены, стекло, серебристый металл – металлические стулья, столы, стеллажи для папок и металлических абстрактных скульптур. Я не любила бывать там – мне сразу становилось там холодно, и, находясь там, Арина всегда была холодной – чужой. Я не знала *эту* Арину. И не желала знать. Но не могла не признать: ее офис производит почти

парализующее впечатление. И очень идет ей – ее белым волосам, ее светлым глазам, ее суховатому личику.

Перед Ариной на тонконогом, металлическом стуле сидел мой мент – он вдруг стал походить на Доброхотова.

Мент-Доброхотов смотрел на Аринины ноги – теперь она делала эпиляцию и педикюр в самом престижном салоне, туда ходили жены политиков и эстрадные звезды. Он смотрел на ее грудь – теперь она покупала самое дорогое белье, и продавщица из бутика на Крещатике звонила ей лично, чтоб сообщить: «Арина Антоновна, у нас новая коллекция».

И прежде чем мент задал вопрос, Арина успела обозначить свой статус, обронить пару известных имен и причислить его к своим поклонникам:

«Вы заходили утром в спальню к своей подруге?»

Нет.

Я вновь не лгала себе. И от ослепительной правды моя голова закружилась. Нужно уйти с солнцепека. Нужно, наконец, что-то съесть. Нужно купить себе бейсболку – вон рядом базар.

Нет. Она не станет меня покрывать. Моя лучшая подруга!

Шестнадцать лет я называла Арину лучшей подругой. Она и была моей лучшей подругой. Просто в какой-то момент она перестала быть ею. А говорить после имени «Арина» – «моя лучшая подруга» стало одним из условно выработанных рефлексов.

Наверное, я понимала это давно. Или чувствовала. Или

подозревала. А может, действительно не замечала? Не замечала в упор, предпочитая оставаться слепоглухонемой идиоткой. Меня раздражало, что теперь Арина говорит лишь о себе и все, о чем она говорит, сводится к «Как меня принимали студенты в Харькове!»

Просто, говоря «моя лучшая подруга», я думала о другой Арине – моей лучшей подруге.

* * *

Нельзя понять ни образ героя, ни идею спектакля, если вы не видели его целиком. И первое действие драмы может вероломно прикинуться беззаботной комедией...

Мы спелись с Ариной на первом курсе в первый же день – лучший день моей жизни, когда на лестнице института нам прочли имена поступивших, и я не поверила ушам. Весь день я пыталась вместить в себя огромное чудо, оно сделало меня большой, а мою тесную жизнь, ограниченную крохотной комнаткой библиотеки, – бесконечной.

От института мы с Ариной пошли на Пейзажную Аллею над яром – у наших ног лежал Город, холмы, дома, церкви, Днепр. («Мы – театральные критики!!!») На Крещатике мы сбросили туфли и прыгали от счастья в фонтане на площади Независимости. («Мы – театральные критики!!!»)

А потом «мы – театральные критики» отправились в театр на спектакль по «розовой» пьесе Ануя «Приглашение в

замок»...⁶

Я не знаю, сколько раз мы впоследствии смотрели его, – столько, сколько он шел. Мы ходили на него как на работу. Мы растащили его на цитаты. Мы влюбились в него, как в божество. И, сидя в зале, я часто ловила себя на мысли, что ищу лазейку, чтоб проскользнуть сквозь «зеркало сцены» и оказаться там. Не на сцене... В феерическом мире, где не существует проблем! Где жизнь вечно прекрасна!

Умопомрачительные декорации из загадочно перемещающихся белых колонн делали «замок» беспредельным. По его анфиладам в ритме танго Пьяццоллы неслись пары в невыносимо прекрасных костюмах. В его садах цвели рододендроны и сидели павлины. Это был апогей дорогой театральной красоты.

Все диалоги были блистательны! Все циники были философами! Действие напоминало нескончаемый звездопад конфетти: заговоров, авантюр, приключений, комических положений. И хотя главная героиня, угодившая в замок, заламывала руки: «Ах, мсье Орас, нельзя же всю жизнь только забавляться!» – ответ хозяина замка стал нашим девизом:

«Наоборот, дорогая, только это и стоит делать, а то не успеешь оглянуться – и умирать пора».

Такой должна была стать наша жизнь! Такой и была наша

⁶ *Ануй Жан* (1910 – 1987), один из лучших французских драматургов XX столетия – отцов интеллектуальной драмы. Ануй делил свои пьесы на «черные» и «розовые» – беззаботные, ироничные комедии с демонстративно неправдоподобным счастливым концом.

жизнь, если не считать отсутствия рододендронов, павлинов и невыносимо прекрасных платьев.

Нас пригласили в замок! «Мы – театральные критики» – стало нашим пропуском «всюду и вся». И если мы желали попасть на разрекламированный гастрольный спектакль, нам было плевать, что билеты распроданы, а те, что есть в кассе, – не по карману. «Мы – театральные критики» шли через проходную прямо к директору театра, требовали контрамарки... и получали места в директорской ложе (увидев там нас, первокурсниц, сфинксоподобная дама в очках едва не получила инфаркт). «Мы – театральные критики» получали аккредитацию на все фестивали, проходили на все развеселые закулисные банкеты и пили на брудершафт с именитыми мэтрами, пытающимися поцеловать нас спьяну взасос. «Мы – театральные критики» носили наш титул с гордостью посвященных в рыцари Сэров. И были готовы вызвать на дуэль любого!

«Один режиссер в общежитии, – ябедничала Арина, – сказал, что театральная критика – бессмысленная профессия. Это они, режиссеры, ставят спектакли. А мы – только критикуем. Придешь ко мне завтра? Расскажем ему ху из ху?»

На лекции по «Вступлению в театроведение» от нашей учительницы – затянутой в кожу, надменной красавицы-критикессы Ермоловой, грозы всех сомнительных режиссеров! – мы узнали, что профессия театроведа, изучающего ис-

искусство, отображающее жизнь, включает в себя изучение мира и человечества! (От политики до религии, от истории до экономики, от философии до одежды.) Формируя театральное искусство, мы формируем будущее! А основной смысл нашей профессии – спасение нашей цивилизации и общества, находящихся на грани гибели!

После чего за спиной у нас с Ариной выросли крылья, а над головой наметился нимб. Мы вылетели из аудитории навстречу великой миссии и растворились в лазурной синеве голубого неба...

Мы – девочка из библиотеки и девочка из провинциального города Шпола – как никто ощущали себя избранницами. Наша дружба была тотальной, необъяснимой и не нуждающейся ни в каких дополнительных объяснениях, уверениях, клятвах. Мы всюду ходили вместе, мы все делали вместе, мы жили вместе (то у меня, то у Арины в общежитии). И когда первый год учебы закончился, мы, дружно взявшись за руки, бросились вплавь сквозь июнь, июль, август...

То было странное и на удивление солнечное время, которое раз и навсегда вошло в историю нашей жизни, как лето после первого курса.

То был конец театроведческой эйфории и начало краха всех иллюзий, начало последовательного развала института и начало экономического кризиса в стране, когда денежные суммы уже исчислялись миллионами, а миллионы приравнивались к нескольким грошам. И, получив стипендию за

три летних месяца, мы купили две пачки дорогих сигарет и банку кофе – остальное разошлось по мелочам неизвестно куда, так что все лето прошло в перманентной дискуссии: как заработать деньги?

В то далекое лето мы не знали, как скоро этот вопрос станет не только пред нами, но и пред нашими педагогами, представлявшимися нам богами. Как скоро профессия, которую мы так гордо озвучивали, превратится из престижной и сытой в мертвую. Все театральные журналы закроются. И ни один с нашего курса не станет ни театроведом, ни историком театра. А если б кто-то сказал нам об этом, мы б рассмеялись: «Кто угодно, только не мы. Мы – театральные критики!»

В то лето мы постоянно смеялись... То было дивное лето, когда глобальную безысходность постоянно захлестывала животворящая, опьяняющая волна незамутненной, святой веры в себя. Мы были типичными персонажами «розовой» комедии Жана Ануя, где все неприятности – только повод для циничной остроты: любовник, сбежавший к утру, отсутствие горячей воды, украденные колготки... Сам «розовый» жанр – «комедия» – защищал нас от плохого финала. Все наши проигрыши были лишь поводом выиграть!

Заявившись на пришвартованный к причалу морвокзала корабль, где праздновалось открытие фестиваля булгаковских пьес, мы исхитрились прокрасться в пустую каюту и наскоро принять там душ. Сбежавший подлец (красавчик с

актерского курса) подкарауливался в общежитской кухне и разделывался под орех. «Послушай, – начинала я, – ты правда не собираешься жениться на ней? А я уже ее папе сказала. Он завтра приедет. Он придет к тебе в два. Ты ж будешь на месте?» – «Даже не знаю, – вторила Арина, – как я ему объясню, что ты меня вдруг разлюбил». – «Ты знаешь, кто ее папа? – добивала я парня. – Начальник Житомирского МВД. Послушай, проще жениться!» Колготки я просто украла с лотка...

В отличие от нас теперешних, в то благословенное лето мы свято верили, что каждая из нас стоит миллион долларов. И не один. Весь мир принадлежит нам. И можно с чистой совестью брать все, что только можно, – потому как на самом деле все сокровища вселенной и так наши, их просто еще не успели об этом предупредить.

В то лето после первого курса я начала красть и курить. Все началось с тех самых двух пачек с ментолом, купленных на всю стипендию. В киевских киосках впервые появились разноцветные пачки с золотыми буквами, набитые элегантными тонкими палочками, не имеющими общего с кондовым понятием «сигарета». Коричневые, декадансные длинные «St. Moritz». Шикарные, тонюсенькие белые «Vogue». Держа их в руках, мы с Ариной автоматически позировали друг перед другом, мечась между образами дорогой проститутки и роковой леди.

Но в то бесконечное, ментоловое, дымное лето проститут-

ки считались негласными героинями времени, а дорогие люди порядочно смахивали на проституток. Все идеалы столетия лежали в обломках. Кумир моего октябрьского детства «добрый дедушка Ленин» был провозглашен садистом, Петр I – гомосексуалистом, князь Владимир – убийцей, а гомосексуализм, эксгибиционизм, педофилия, убийство – были признаны нормальным явлением.

Во всех театрах играли «Лолиту», «Саломею» и Маркиза де Сада⁷. В каждом втором спектакле актрисы раздевались догола. Был бум гей-культуры. В среде театральных дам было модно влюбляться в артистку Людмилу Погорелову, исполнявшую роль лесбиянки в культовой драме. На встрече со студентами культовый режиссер бескомплексно рассказывал нам, как красть бутерброды с презентаций и книги из библиотек. Признаваться в своих пороках считалось признаком развитой личности. И мы, с отличием закончившие первый курс театрального, точно знали: Софья могла заниматься сексом с Молчалиным, играя при этом на флейте, мать Гамлета могла испытывать к сыну нездоровую страсть, Отелло, убивший Дездемону, был, в общем, милым парнем, а

⁷ «Лолита» – пьеса Э. Олби по одноименному роману В. Набокова. Главный персонаж – педофил Гумберт Гумберт сожительствует с девочкой-школьницей. «Саломея» – пьеса О. Уайльда по библейскому сюжету. Главный персонаж – иудейская принцесса Саломея – просит в награду за танец отрезанную голову Иоканаана (пророка Иоанна Крестителя). *Маркиз де Сад* – писатель, ставший «крестным отцом» садизма. Большинство его романов и пьес являются «философствующей порнографией».

смертоубийство – вполне обычная вещь.

На дворе правили бал бандитские 90-е годы. Но мы с Ариной не подозревали об этом! Мы жили в своем маленьком богемном мирке, где все смерти были красивыми и сопровождались обязательными световыми эффектами и фонограммой с музыкой Верди, где все пороки провозглашались сутью души... И мы не знали, что в то странное лето весь мир жил по законам нашего театрального мира.

Театр мог оправдать все. «Театральная красота – это такой вкусный соус, под которым можно съесть родного отца», – сказал философ театра Николай Евреинов. И мы с Ариной не знали, насколько мы были детьми театра и нашего театрального времени. Времени, когда, убив двух соперниц и покончив с собой, герои спектакля отплясывали в финале канкан. Времени без табу – когда единственным табу считалось иметь табу и не иметь денег на красивую жизнь.

Но в то солнечное, безнадежное, парадоксально счастливое лето ментоловые сигареты были самой дорогой вещью, которая была у нас. Была недолго – мы уничтожили обе пачки за ночь, посвященную обсуждению двух обоюдоострых проблем: «Мы, в отсутствии любви и денег».

И хотя утром, когда рассвет вывесил напротив балкона огромный сиренево-розовый гобелен, меня, как посвященную в курение, вырвало над унитазом, я все равно пришла к выводу: курить такие красивые штучки – удовольствие! И нужно быть дурой, чтоб от него отказаться. А истине «за

все удовольствия нужно платить» мир, театр и И. В. успели научить меня, как и тому, что эта проблема вторична. Ибо, чтобы расплачиваться за удовольствие, вначале нужно придумать, за какие шиши его покупать.

Потому именно в то лето после первого курса мы с Ариной окончательно выбрались из девственных пеленок инфантильности, впервые поставив перед собой совершеннолетнюю задачу: нужно где-то взять деньги!

«У нас нет другого выхода – надо заняться проституцией», – сказала Арина. И повторяла это достаточно долго, пока мы нышпорили по городу, звонили по объявлениям в «Аviso-Киев» и, пользуясь бабушкиным сезонным переездом на дачу, валялись у меня на диване, интенсивно дымя и прожигая в нем дыры, в поисках иных вариантов.

Мы дали бесплатное объявление в газету: «Две молодые девушки ищут работу». По канонам лета после первого курса оно было равнозначно табличке «Специалистки по эрекции с нетерпением ждут клиентов». В то лето представители самых асексуальных профессий писали: «Ищу работу уборщицы. Интим не предлагать». Но все же шанс, что какой-нибудь недалекий придурок воспримет наш текст без подтекста и предложит нам мыть полы, был, и я очень на него надеялась. Зря.

100 % мужчин, звонивших нам, интересовались исключительно тем, занимаемся ли мы удовлетворением чужих сексуальных потребностей и каким именно способом. В ответ я

крутила им мозги одновременно со шнуром от телефона и обещала показать в скором времени небо в алмазах.

Заниматься проституцией мне не хотелось. Не потому что я страдала моралью и нравственностью или небезосновательно беспокоилась о небезопасности выбранной нами дорожки. Я выросла на книге «Интердевочка», фильме «Красотка» с Джулией Робертс и раз пять посмотрела спектакль по повести Винниченко, героиня которого занималась проституцией ночью, чтоб иметь возможность работать скульптором днем.

Я училась в театральном, и все мои сомнительные поступки были лишь ролью «Я – проститутка», «Я – вор». Аплодисменты. Занавес. Можно идти домой и быть хорошей девочкой. Театральный институт и мой «розовый» друг Жан Ануй раз и навсегда научили меня воспринимать все не слишком серьезно – как повод для циничной остроты.

Я просто всячески оттягивала роковой шаг на панель, пока судьба не подсунула Арине козырь, побить который я не могла.

В «букинисте» появился томик Ануй. Украсть его было невозможно! Я мечтала о нем, как христианин о Библии, как индуст о мантре – в то лето Ануй представлялся мне чудесным ключом к пониманию всей моей жизни! В то лето его пьесы было невозможно найти! Я читала всего одну – мне дали ее в театре, где шел покоривший нас с Ариной спектакль «Приглашение в замок»...

«Но как мы можем заняться проституцией? – отреагировала я наконец. – Ведь у нас нет даже одних кружевных трусов на двоих?»»

В то лето после первого курса у нас не было не только приличных трусов. Арина донашивала старый мамин костюм и бесчисленные вязаные «поробки» собственного производства, которые она с успехом плела прямо на лекциях под партой. Делала она это не глядя, и результат получался соответствующим. Особенной любовью она почему-то пылала к своей длинной, растянутой коричневой кофте с чудовищной аппликацией из пластмассовых листиков, кожаных ромбов и кусочков меха. Я вязать не умела, зато компенсировала этот пробел степенью безумия – в том, во что я одевалась тогда, сегодня меня не выпихнули б на улицу и под общим наркозом.

Вытащив из шкафа пиджак моей бабушки, я адаптировала его к жизни – несмотря на фасон, вышедший из моды в период молодости мамы, и ткань, название которой можно было прочесть сугубо в произведениях советских классиков, он был модно-малинового цвета. Я пришпандюрила к нему золотые пуговицы. Пришивать было лень – я приколотла их изнутри английскими булавками и была в полном восторге от своей редкой находчивости. Бабушкин малиновый

пиджак я носила в комплекте с присланным мамой обширным индийским платком такого же цвета, завязывая его как кушак и сооружая на попе огромный бант.

Для особо торжественных выходов у меня был подвенечный наряд, дебютировавший на консультации и, вне всяких сомнений, подходящий и для панельного дебюта. Последним штрихом к нему стали позаимствованные из костюмерной института золотые перчатки и черные губы. Я красила их театральным гримом (черной губной помады в продаже не было и в помине, но, прочитав о ней в книге Лимонова, я принципиально не признавала другой).

Однако этот душераздирающий туалет был единственным, имеющимся в нашем распоряжении, и при самой хитроумной комбинации разделить его на двоих не представлялось возможным.

«Если для того, чтоб заработать деньги, нам нужно заняться проституцией, для того, чтоб заняться проституцией – нужна одежда, а для того, чтоб купить одежду – нужны деньги, у нас нет другого выхода – нужно ее украсть», – провозгласила я.

И мы пошли на дело... Лучше всего для него подходили крупные универмаги с отделами самообслуживания. Для заправки я лихо стащила из шляпного отдела фуражку – тупо надела ее на голову и вышла на улицу с равнодушным видом. Мы радостно обмыли наш воровской почин шестью чашками кофе.

Вторым этапом стала шляпа для Арины. Весь первый курс она кормила меня рассказами о том, что во время учебы в Шполах у нее была потрясающая черная мужская шляпа. Потрясающесть состояла в том, что достаточно было Арине водрузить ее на голову, ни один мужчина не мог пройти мимо. Шпольская шляпа загадочно исчезла, и нужно было немедленно раздобыть второй экземпляр. Для этих целей был выбран другой универмаг. Второй раз я так рисковать не стала и, пока Арина прикрывала меня своим телом, засунула головной убор под футболку.

Но убедиться в его волшебном действии на мужчин, столь необходимом в апробируемой нами профессии, мне не довелось. Шляпу Арина так ни разу и не надела. А вскоре вторая шляпа исчезла таким же загадочным образом, как первая. Да и вообще, все те вещи, которые мы так беззаботно воровали из киевских универмагов, не больно-то нам пригодились. Быть может, дело было в том, что мы крали не то, что нам нужно, а все, что можно было украсть?

Так, в обувном отделе я стащила для Арины две туфли на левую ногу. Вторую пару продавцы мудро держали вне пределов досягаемости – опасности существования таких маразмизирующих личностей, как я, они не учитывали, за что и поплатились. Дома я с сомнением покрутила две левые туфли и с надеждой спросила Арину: «Может, разносишь?» Но, хотя для образа профессиональной путаны черные шпильки были нужны позарез, надо отдать Арине долж-

ное – она даже не пыталась осуществить мое гениальное предложение.

И все же, несмотря на сомнительность наших достижений, каждый вечер мы приносили домой все новые и новые вещи, возбужденно примеряли, делили и обговаривали перспективы будущих подвигов. Наверное, смысл был не в качестве новых вещей, а в том, что они были новые, и с каждым походом мы убеждались, что можем получить все, что захотим. Вопрос же, перейдет ли со временем количество в качество – не обсуждался. Мы не сомневались в том ни секунды.

Вершиной моей воровской карьеры стало красное платье с широкими рукавами из тоненькой сеточки, которое я умудрилась спереть прямо с манекена в торговом зале. По канонам лета после первого курса, этот туалет из подкладочного шелка, с массивными, позолоченными пуговицами, оттягивавшими бесчисленными морщинами чересчур тонкую ткань, считался вершиной роскоши и в комплекте со шпильками (на левую ногу) вполне мог составить Аринину экипировку. Но насладиться сим изысканным видом ни одному клиенту не удалось. Так получилось...

Мы обзвонили процветающие в то лето проститутушные агентства, маскирующиеся под массажные салоны с романтическими женскими именами. Я скрупулезно вырезала из газет всех этих «Стелл» и «Снежан», клеивала в тетрадь, выясняла их требования, правила, таксу и записывала данные рядом с вырезкой. Основной нестыковкой было то, что

давать свой домашний телефон я отказывалась. Но с одной из контор мне кое-как удалось сторговаться, и они назначили нам смотрины – в виде встречи у метро «Золотые ворота».

Разодетые в пух и прах, мы промаячили там полчаса, после чего возмущенно перезвонили им снова. Мужской голос, с которым я договаривалась, начал витиевато выяснять, с кем из нас он сейчас говорит – с той, которая в красном, или с той, которая в блестящем? Я не призналась и стала до тошно выпытывать: «А если я красная, то в чем проблема? А если я блестящая, что тогда?» Толку друг от друга мы не добились. Я выяснила лишь, что одна из нас им не понравилась, а какая именно, так и осталось загадкой.

Потом сработало наше объявление. Но первый человек, намеченный нами в клиенты, оказался телефонным маньяком. Он радостно согласился на лямур де труа (я категорически предупредила: «мы с подругой работаем только вдвоем») и тут же начал фантазировать: «Значит, Санечка лижет Ариночку, Ариночка лижет меня, а потом я засовываю членник в Ариночку, Ариночка кричит... А что в это время делает Санечка?» – «Лижет Ариночку», – послушно согласилась я и, вежливо дослушав все грядущие варианты лизаний, жестко договорилась с ним о встрече и о цене.

Следующий день мы опять бродили по магазинам, на сей раз с самой благой целью – присмотреть, что мы купим на честно заработанные деньги. Точнее, присматривала Арина. Моей великой неизменной целью был Жан Ануй, красовав-

шийся на недоступной витрине и освещавший мой путь на панель путеводной звездой. Так что Арина, точно улавливающая мой маразм, на котором можно играть любую пластинку, даже сменила текст автотренинга «У нас нет другого выхода» на «У тебя нет другого выхода. Иначе ты своего Ануя не купишь». – «А Ануй – это святое», – вздыхала я.

Но наш сексуально озабоченный работодатель на встречу не явился, и мы снова простояли полчаса (в красном и блестящем) несолоно хлебавши. Затем мы созвонились, он долго извинялся, снова подробно проинформировал меня кто, кого, куда будет лизать, и снова не пришел. Когда же, услышав мой голос, он попытался рассказать алгоритм нашего кругового облизывания в третий раз, я посоветовала ему засунуть свой «членик» себе в задницу, потому как я не занимаюсь бесплатным телефонным сексом. Хотя после троекратного общения с ним заниматься оплачиваемым сексом по телефону я уже, наверно, могла бы.

Второй клиент тоже не смог насладиться ни нашим блеском, ни нашей красотой. И был сам виноват, поскольку, оказавшись излишне скромным, пригласил нас к себе мыть полы. И мы, как две честные дуры, надев все самое худшее (которое по качеству немногим отличалось от нашего лучшего), поехали к нему.

Жил он в районе новостроек, что, по моим меркам коренной киевлянки, считалось уже не Киевом, а его отдаленными окрестностями. Мы долго тряслись в метро, потом в пе-

реполненном автобусе, потом не менее долго искали его дом в лабиринте одинаковых белых коробок.

Нам открыл дверь небольшой округлый мужчинка лет сорока.

– Где нужно мыть? – угрюмо спросила Арина.

– Может, сначала выпьем чая? – предложил он.

В процессе чаепития обиняками выяснилось: он был бы не прочь, если бы одна из нас вымыла не пол, а его со всеми вытекающими отсюда последствиями.

– Но мы работаем только вдвоем, – заученно огласила я.

– Я боюсь, что у меня мало денег, – замялся мужик.

– А сколько есть? – полюбопытствовала Арина.

Он покорно принес свой кошелек и начал выгребать все имеющиеся там купоны, затем, со вздохом, извлек на свет бумажечку какой-то валюты, про которую я могла сказать только одно – это не доллары.

– Ее можно поменять, – с сомнением сказала Арина и выжидающе посмотрела на меня.

Можно ее было обменять или нет, на Ануя тут не хватало. Но нам нужны были вечно оканчивающие сигареты. Все пустые бутылки из моей квартиры были транспортированы в пункт приема стеклотары. Ночами мы с Ариной собирали окурки в подъезде. Я махнула рукой, и мы пошли раздеваться в ванную, где Арину чуть нехватила кондрашка при виде моих трусов.

– И в этом ты собираешься заниматься проституцией? –

прошипела она.

Действительно, из всей коллекции нашего неликвидного белья эти были самыми неподходящими – чересчур большими, растянутыми, в разноцветных гномиках. В четырнадцать лет мама купила их мне «на вырост», но я до них так и не доросла.

– Ладно, – я убежденно натянула штаны. – Давай лучше вымоем полы. Все равно у него денег мало.

И мы честно вымыли мужику пол (а в качестве компенсации за так и не купленного Ануя я стащила из его шкафа томик Булгакова).

Мужик, правда, пытался остановить нас и робко требовал продолжения банкета.

– А знаете, – озарился он, – я скоро поеду в командировку, заработаю там денег. Встретитесь со мной еще?

Ради такой великой цели я таки оставила ему телефон. И он перезвонил... И если бы я была героиней драмы, мне следовало сказать, что с того дня моя жизнь была испорчена, правда открылась, у мамы был инфаркт, а бабушка выгнала меня из дома на улицу.

Но «розовая» французская комедия не подчиняется сермяжной житейской логике. И полгода спустя, вернувшись домой, я услышала от бабушки Люси: «Тебе несколько раз звонил какой-то Миша. Очень хочет с тобой встретиться. Долго рассказывал мне, какая у меня замечательная, потрясающая внучка и как ты ему нравишься. Такой приятный ис-

кренний мужик...»

С Мишей я больше не встречалась. На нем наша неудавшаяся проститутошная эпопея была закончена. Нас с Ариной ждали новые приключения. Мы путешествовали на попутках по Крыму и отплясывали босыми в приморских кафе за чашку кофе и пачку сигарет. Мы работали официантками в ночном клубе, продавали в переходе цветы, распространяли гербалайф, раздавали флайера. Мы делали вместе институтскую стенгазету, делали вместе театральный журнал, пытались написать вместе роман, сделать бизнес...

Наши дороги разошлись всего на несколько лет. Арина вышла замуж, я тоже. Мой брак не был удачным – самой большой удачей было то, что я не успела прописать мужа в квартире. Арине повезло больше – квартира досталась ей.

Мы сошлись снова, когда я выкарабкивалась из развода, а Арина начала агрессивно карабкаться вверх.

Глава четвертая

*Ах, друзья мои, вы не знаете, чем была для меня
Жеральдина!*

Жан Ануй. «Приглашение в замок»



Настало новое время и новое лето – оно было залито не солнечным светом, а огнями ночных фонарей. Арина купила свою первую машину, и каждую ночь мы колесили по городу. Мы слушали Макаревича и хором подпевали ему: «Семь миллиардов растерянных граждан эпохи большой нелюбви».

Мы по-прежнему верили, что стоим миллион долларов, но я уже верила в это чуть меньше. А для Арины это уже перестало быть абстракцией.

И все же то было счастливое лето. Оставив машину на обочине, мы подолгу бродили пешком по черному безлюдному городу. В этом городе летали летучие мыши, и в двух шагах от Крещатика можно было встретить ежей. Это был только наш Город. Он принадлежал нам. А мы принадлежали друг другу.

В прозрачные, синие, летние ночи в Киеве обитали лишь мы и бесчисленные милиционеры, на которых мы натыкались на каждом углу и у которых, так же как у редких прохожих, мы вызывали глубокое недоумение.

Наш мелкокалиберный рост, почти одинаковые черные джинсы и футболки навывпуск, кое-как отличающиеся при свете дня, делали нас в темноте близнецами. Походная обувь без каблучков придавала походке какую-то вопиющую детскость. Мы походили не то на малолетних проституток, не то на двух соплюшек, сбежавших из дома в поисках приключений.

– Что вы здесь делаете? – Машина милиции подруливала к очередной скамейке, на которой мы с Ариной очередной битый час обсуждали печальный итог нашей жизни.

– Ждем.

– Чего?

– Я жду почтальона.

– А я счастья в личной жизни...

– Ваши документы!

Привычным, ставшим механическим, жестом я вытаскивала из кармана свое журналистское удостоверение, Арина – водительские права, и вопрос снимался сам собой. С журналистами милиция предпочитала не связываться.

– А может, – Арина смотрела им вслед, – дело не в этом. Просто, беря документы, они видят наши глаза. По глазам сразу ясно, сколько нам лет.

В ставшее нашим розовым прошлым жаркое лето после первого курса мы редко задумывались над своими поступками – мы с Ариной были похожи на хаос, властвующий на земле до сотворения мира, и наши принципы были так же податливы, как прожаренный солнцем киевский асфальт, пружинящий под нашими ногами, как серый плавленый сырок. Теперь наши ноги отбрасывали длинные тени, и мы думали больше, чем делали. Мы стали героями «черной» ануевской комедии, то и дело прерывающими динамичное действие рассуждениями о смысле своего бытия.

«Мы – театральные критики, – повторяла Арина. – Пять лет нас учили анализировать чужие поступки на сцене. И жизнь ничем не отличается от театра».

Ночи позволяли смотреть на дневную реальность как на провинциальный спектакль. И Арина, кривясь, говорила, что, поднимаясь вверх, ты зарабатываешь больше, но должен соответствовать взятой тобой высоте: «Вот и выходит, денег

как не было, так и нет. Чем больше их, тем больше тратишь. Ты обязан купить дорогой мобильный, дорогие духи, одежду, машину...»

Но ночами Арина снимала показательно-дорогие костюмы, залазила в купленные еще в институте штаны, старые шорты, раздолбанные сандалии и становилась собой. Она засовывала руки глубоко в карманы, отчаянно сутулилась, пинала носками случайные камушки и насмешничала над глупым спектаклем под названием «Моя социальная жизнь». Мы сидели на лавках, пили кофе в дешевых забегаловках, обсуждая ее карьерные победы и промахи с отстраненностью театроведов, анализирующих постановку на сцене. Уже тогда мы больше говорили о ней...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.